



"Детская библиотека"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Альберт Лиханов

Детская библиотека

В третью военную осень – да уж, пожалуй, это и не осень была, а начало зимы: на улице свистал знобкий ветер, перегонял по дороге белые охвостья снежной крупы, больно сек ею лицо, выжимая слезы, хотя на календаре числилась еще осень, и я не забыл густой дух картошки, жаренной на рыбьем жире, праздничного объедения, которым мы отметили октябрьскую годовщину, – так вот в третью военную осень, сразу после каникул, я записался в библиотеку.

Я? Записался?

Это только так говорится. И вы сейчас поймете почему.

После уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью – честь по чести! – было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором классе девятой начальной школы.

– Вот! С этой! Справкой! – разделяя слова, делая между ними паузы и, таким образом, не просто объясняя, а внушая, вдалбливая нам правило, которое требовалось запомнить, Анна Николаевна разъяснила и остальное. – И письменным! Поручительством! Мамы! Вместе! С мамой! Вы! Пойдете! В детскую! Библиотеку! И запишетесь!

Детское ликование трудно остановить.

Да и не нужно его останавливать, потому что это ведь стихия. Ветер, например, можно остановить? Или дождь? Или бурю там, всякие, например, громы и молнии? Наберись терпения, подожди, стихнет ветер, промчатся тучи, и снова будет так, как было до стихии.

Поэтому наша мудрая Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы заорали на радостях, заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, прислонилась к теплой печке и сложила руки калачиком.

Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так возрадовались.

Подумаешь, скажут нынешние ребята, делов-то – в библиотеку записаться, да это ж за просто, заходи в любую, покажи дневник, и вся недолга!

То-то и оно, что скажут так нынешние ребята.

Мы жили в другое, хоть и не такое, может, давнее время, и много тогда было всяких правил, которых теперь в помине нет.

Вот, например, поручительство.

Мы утихли, угомонились, Анна Николаевна отошла от печки к своему столу и снова стала объяснять.

– В письменном! Поручительстве! Мама должна указать! Место! Своей! Работы! Должность! Домашний! Адрес! И написать! Что в случае! Потери! Книг! Она! Возместит! Утрату! В десятикратном! Разморе!

Вот вам что такое поручительство!

После шквала радости по классу прокатился сдержанный вздох.

- В десятикратном? - воскликнул кто-то с ужасом.

- Да, - сказала Анна Николаевна. - В десятикратном! Теперь вы понимаете свою ответственность? - спросила она уже обычным, спокойным голосом.

Можно было и не спрашивать. Без всякого сомнения, штраф за потерянную книжку в десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием, но отказаться от него не мог никто, никакой взрослый, ведь не зря же в поручительстве надо было указать место работы. Выходило, книжки читать будем мы, и терять, если доведется, тоже будем их мы, а вот мамам придется страдать из-за этого, будто мало им и так достается.

Да, мы росли в строгости военной поры, твердо зная, что взрослый, опоздав на работу, попадает под суд, а горсть гороха из колхозного мешка обещает тюрьму.

Может, мы оглядывались на каждом шагу, боялись поднять голову, засмеяться? Нет! Жили, как живут люди всегда, только с детства знали: там-то и там-то есть строгая черта, к которой лучше не приближаться. Так что Анна Николаевна просто предупреждала об этой черте. Внушала нам, второклассникам, важную истину, согласно которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об этом, забудешь о том, что книжку надо беречь, поглубже прятать в сумку или даже за пояс, под курточку, и потеряешь по рассеянности или еще по какой другой, пусть даже уважительной причине, маме твоей придется отвечать за тебя, плакать, собирать по рублю деньги в - десятикратном! - размере или, того хуже, у нее на работе из-за твоего ротозейства начнутся неприятности.

Поручительство, оно и есть поручительство.

Повздыхав, зарубив себе на носу жестокий размер ответственности и еще одно правило, по которому мама должна прийти сама вместе с тобой, захватив при этом паспорт, мы вылетели на волю, снова ликуя и толкаясь.

Дело в том, что все мы давно уже научились читать - соответственно возрасту, конечно же, запросто разделялись с тонкими, еще довоенными, клееными-переклееными книжечками, которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса.

А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который посещает библиотеку, - самостоятельный человек, и библиотека - заметный признак этой самостоятельности: все видят, как тыходишь в нее и выходишь обратно.

Может быть, этот счастливый момент и не запомнился мне так хорошо и так подробно, если бы шло все своим чередом, и как только я пришел из школы, мы бы отправились в библиотеку.

Увы! Мама была на работе, а у бабушки моей, маминой мамы, ясное дело, совсем другая, чем у меня, фамилия, и кто же поверит, что она именно бабушка, а не первая встречная старушка или там какая-нибудь безответственная соседка.

Бывает вот так, к сожалению: умом-то человек все вроде бы понимает, а с чувствами сладить не в силах. Вот и я - все понимал, а хныкал, как дошкольник. Такая обида накатила, даже не знаю - на что, на кого? Я забился в угол, затирая рукавом слезы и тяжело сопел, а бабушка гремела кастрюлями в своем углу.

Так вот всегда заканчивались наши сражения: моим сопеньем и ее громыханьем.

Досадно, конечно. Понимаешь, что никто не виноват, но ведь дело-то сорвалось! Завтра все придут в школу и начнут хвастаться библиотечными книгами, а мне придется отворачиваться, делать вид, что я глух и нем, или выдумывать какую-нибудь небывальщину.

Хорошо еще, мама сразу поняла, что я неспроста сижу тихий над тетрадкой и не могу решить два легусеньких примера по арифметике, быстро выяснила причину, легко рассмеялась, вырвала листок из чистой тетради и своим размашистым, летучим почерком написала поручительство.

Что правда, то правда, моя мама могла одним всего-навсего словом или вот как теперь – росчерком пера – сменить погоду на улице, переломить настроение, разгладить бабушкины морщины, а меня заставить глубоко вздохнуть и жить по-новому.

Противный ветер за окном стих, и в фиолетовых, почти чернильных сумерках вдруг повалили лохматые снежинки. Новый снег!

Дышать стало легче, и я освобожденно рассмеялся.

Чудесница эта мама!

А она достала из комода свой паспорт и сказала, обращаясь к бабушке:

- Сходите туда завтра вдвоем. Я-то поздно ведь прихожу. Объясни, люди же в этой библиотеке, поймут.

И завтра мы пошли.

Как любила бабушка, взявшись за руки, и я уже не рядился с ней, не спорил, не отстаивал самостоятельность, не думал о том, чем буду оправдывать свою девчачью послушность, если попадется знакомый народ. Я думал о том, как выглядит эта самая библиотека – ведь я уже был в ней и, представьте себе, не однажды.

Впрочем, тогда это была не библиотека вовсе – табачный магазин. И всякий раз я заходил туда с отцом, а он покупал себе папиросы в знаменитом на весь город и единственном табачном магазине.

Чем он был знаменит? Во-первых, тем, что о нем много говорили. Я то и дело слышал, как взрослые, даже женщины, спрашивали друг друга:

- Ты была в табачном магазине? Ах какая прелесть!

Что может быть прелестного в магазине, да еще табачном, я не понимал, но потом мы с отцом шли откуда-то куда-то, и он сказал мне:

- Кончились папиросы. Давай-ка зайдём в знаменитый табачный магазин!

И мы зашли.

Да. Мы зашли, и всякий раз я попадал в этот магазин с отцом, а это означало, что в табачный магазин мы заходили до войны, и я не уставал удивляться, а в первый раз и вовсе онемел от замечательной красоты.

Дело в том, что есть такое вятское искусство – обработка капа или капокорня. Кап – это нарост на березе. Будете в березовой роще, приглядывайтесь повнимательнее к деревьям, и обязательно хоть на одном, да увидите такой овальный нарост, это и есть кап. Он и внизу нарастает, на самых корнях, это уже капокорень.

Березу, как всякое дерево, можно спилить, можно топором колоть, а кап никакой топор не берет, такой он твердый. Вятские мужики – неизвестно когда? – научились все-таки кап пилить острыми и тонкими пилами, потом шлифовать, полировать до блеска и лаком покрывать. Получаются дощечки – от лака блестящие, прямо стекло, хотя и непрозрачные, ясное дело. Скажем так: будто сквозь стекло проступает береза, только не ствол ее, а завитки, узоры чудные, кружева. Это каповый нарост так древесную ткань свил. Из капа шкатулки делают, табакерки там, пудреницы, например, для женщин, мелкую, в общем, всячину, и никогда никто не знал, что можно из этих дощечек целую комнату сделать. Целый магазин!

Когда мы первый раз туда вошли, я прямо на пороге замер. Магазин небольшой был – комната средней величины, меньше школьного класса раз в пять или в шесть – и стены как будто облиты прозрачным льдом, а за ним кружатся, растекаются необыкновенные разводы – то цветы, то облака, то просто неведомый, странный рисунок, и все это одного оттенка, коричневого и оттого теплого. Холодное стекло, даже лед, и – теплый цвет. Да еще прилавки точно такие же.

Что такое кап и капокорень, я, конечно, уж потом узнал, много лет спустя, постарше или совсем взрослым, а тогда я стоял возле порога, таращился во все глаза, и день был ясный, послеобеденное солнце пробиралось по крышам, среди печных труб, заглядывало в оба магазинных окна, отражалось в лаковых стенах, дробилось на зайчики, высвечивая зеленые коробки папирос с непонятным, но таинственным названием «Герцеговина Флор», силуэты всадников на коробках «Казбека», желтые шкатулки табака для морских, наверное, капитанов, потому что назывался он «Капитанский». Этот капитанский табак – одна коробка была распечатана – медово светился под витринным стеклом в окружении веера черных и оттого торжественно прекрасных трубок с матовыми боками, и я подумал: как было бы здорово, если бы отец закурил трубку с таким табаком!

Вот выходим мы из магазинчика, он останавливается, не спеша раскуривает трубку, и мы шагаем с ним рядом, и все прохожие останавливаются: еще бы, в нашем городе никто не курит трубок. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы по улице шел человек и курил себе трубку. Наверное, это потому, что наш город сухопутный и морских капитанов здесь не бывает.

Вот такие мысли пришли мне в голову, пока я стоял возле порога табачного магазина необыкновенной красоты и вдыхал опасные и в то же время прекрасные запахи, которые издавали все эти цветные коробки и пачки. Конечно, пахло табаком, но, смешиваясь, все эти запахи образовывали какую-то горьковатую, а оттого неприторную сладость.

Может, это была сладость взрослой мужской жизни? Не знаю, может быть. Я не успел в этом разобраться. Ведь это было до войны.

Все, что было до войны, казалось мне освещенным ясным и мягким светом незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом зашли в табачный магазин.

Солнце не стояло над головой, оно брело по крышам, тени становились длиннее и чуточку темнее, и моя душа осязала прозрачность воздуха, бордовый цвет кирпича, от которого отстала штукатурка, и даже, кажется, невидимую дугу, след ласточки, размашистый ее полет в покое и сладкозвучной тишине.

Такой мне казалась жизнь до войны.

Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил «Беломор», три пачки с голубыми дугами над картой, и магазин сверкал древесными льдинами, но потом началась война, табак стали давать по карточкам, магазин закрылся, и вот туда переехала детская библиотека.

Чем жива человеческая память? Событиями и лицами, поступками и словами.

Однако, если даже с точностью выстроить их друг за дружкой, вспомнив, что следовало за чем, если даже по словечку вспомнить, что, кто и когда сказал, это окажется всего лишь навсего сухой перечень событий. События и лица, поступки и слова, давно ушедшие от тебя, вернуться снова, если их соединить памятью чувств.

Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог?

Сильную обиду, обделенность, обман. Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки.

Бабушка подошла к прилавку, вела там тихий, очень вежливый разговор, а я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я ночью иду по пустой дороге. И батя мне все млился, папка – вот он там стоял, не где бабушка, подальше, у самого края прилавка, время от времени поворачивался ко мне – покупал «Беломор», платил деньги, брал пачки, а сам так часто-часто на меня оглядывался, словно боялся, что я убегу, исчезну, и улыбка не сходила с его лица, а я ведь тогда таращился на красивые цветные коробки, на табак и собирался спросить отца, почему он не купит себе трубку, – вот было бы здорово, – да так и не спросил.

И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец был так неправдоподобно близко – только руку протяни. Например, порыбачить не успел, сходить с ним на охоту.

Я вспомнил, как отец уходил с ружьем, яркой вспышкой озарило меня прошедшее, но не забытое мгновение, точнее, чувство: мы с мамой провожаем его до угла, где почтовый ящик, я обещаю не плакать, взрослые объясняют, что на охоту мне еще рано, и я как будто хорошо понимаю это, больше того, мне становится страшно, когда я представляю себе, как громко жажнет выстрел, – так вот, я обещаю не плакать, но не могу сдержаться и навзрыд плачу, когда отец, оглянувшись в последний раз, отходит от нас. Закатное солнце слепит меня, бордовое, зловещее, грозное солнце, на фоне которого раскачивается кепочка отца, вещевой мешок и ствол ружья, мне отчего-то душно, тяжело на душе, я боюсь за отца – почему он уходит от нас, зачем эта охота, пусть лучше вернется, мама берет меня на руки, бегом несет домой, точно спасает от беды, и в глазах у нее я тоже вижу слезы.

Как приходит тревога в дом? Плачем малыша, которого напугало красное, словно налитое кровью, закатное солнце, и вслед за ним заплакала мама, а через день вернулся расстроенный отец – охота не удалась, даже ни разу не выстрелил; ну хорошо, что же делать, а он хмурится и ломает спички, закуривая «Беломор».

Что это было? Предчувствие? Но война началась через год, и много было еще и смеха и слез до ее прихода, а я помнил тот вечер и чувствовал ту тревогу...

Почему она соединилась с новой?

Я оглядывал полки, за которыми лежали лохматые от старости книги, я вспоминал коробки с «Герцеговиной Флор» – что это имя значит? – с «Казбеком», с медовым табаком для морских капитанов, я вспоминал черные суровые трубки, чисто мужские вещи, и поражался холодному равнодушию блестящих витрин, которые так легко сменили свое содержание, так легко забыли, что лежало здесь раньше.

Я втягивал ноздрями воздух, надеясь услышать хотя бы напоминание о сладком запахе довоенных табаков, но чувствовал только дух клея и старой бумаги.

Правда, он не был противным, этот новый запах.

Они смотрели на меня удивленно, бабушка и библиотекарь, видно, окликнули не раз, пока я встрепенулся и шагнул к витрине.

- Здравствуйте, – запоздало сказал я и стянул шапку.

- Нет, нет, – замотала головой старушка, – шапку не снимай.

- Полагается, – неуверенно запротестовала бабушка.

- Вот раздобудем дров, тогда будет полагаться, – ответила старушка библиотекарь. – А пока холодно.

Сама она была одета очень странно. На голове лохматая ушанка, вместо тесемок у которой настоящие ленты, и ниже подбородка они завязаны в бант, каким девчонки завязывают волосы – такой же широкий, похожий на бабочку. Сама шапка, правда лохматая не вся, не целиком, кое-где выдраны целые клочья, будто эту шапку рвали злые собаки. А вот пальто на старушке совершенно необыкновенное, такого я еще не видал. Оно, кажется, бархатное, переливается, когда старушка шевелится, да еще сверху нависает пелерина, а на ней красивый светло-серый воротник.

Потом, когда мы выйдем на улицу, бабушка скажет то ли мне, то ли самой себе в задумчивости: «Такие пальто раньше барыни носили», – а пока я разглядывал библиотекаршу во все глаза и едва сдерживался, чтобы не прыснуть. Этот ее величаво-печальный наряд завершали перчатки с отрезанными пальцами, чтобы удобней писать.

- Ну, – сказала старушка, выслушав бабушкины объяснения и разгладив бумажки, которые та подала ей. – Как тебя зовут, фамилия?

Я произнес погромче свои скромные данные, ведь ушанка у нее была накрепко завязана таким широким бантом, что она, наверное, плохо слышала, но старушка, ничуть не обидевшись, улыбнулась:

- Кричать не надо, выбирай лучше книгу.

Я столько ждал этого мгновения, что – как это часто бывает – прозевал его.

- Выбирать? – переспросил я.

- Ну да, – сказала старушка, – чего ты хочешь прочитать?

Я топтался перед витриной, вглядываясь в потрепанные обложки, шевелил губами, читая незнакомые мне имена и названия, всматривался в стопу книг подальше, за спиной у

библиотекарши, и с каждым мгновением все ясней понимал, в какой я попал конфуз. Ведь я не знал, ну совершенно не знал, какую книгу хочу прочитать.

Теперь настала очередь старушки разглядывать меня. Может быть, я еще и поэтому потерялся – меня жег ее взгляд. Раз или два я, словно жулик, укравший что-то прямо на глазах у народа, мельком посмотрел на нее. Она улыбалась, надо же, какая веселая, и бабушка отправилась на мое спасение. Откашлявшись, подсказала мне:

– Сказки Пушкина?

Я помотал головой. Я не хотел признаться даже себе, что оказался такой маленький и беспомощный. Что, мечтая записаться в библиотеку, я, как последний остолоп, не знаю, чего бы мне почитать. Сказки Пушкина мне читала мама, когда я был совсем крохотным, да и по радио я их слышал десять раз, не меньше. Нет, я не хотел брать первую же книгу, какую мне подсказали.

– Он хорошо читает? – неожиданно спросила библиотекарша, обращаясь к бабушке поверх моей головы, и я, наверное, покраснел, словно мак. Обо мне спрашивали при мне, как спрашивают о самых маленьких, будто я сам не в состоянии ответить – есть у взрослых такая обидная манера. А бабушка чего-то размышляла, то ли задумалась о чем-то другом, то ли вопрос не поняла, молчала себе, разглядывая меня, точно не знает, как я читаю.

И я воскликнул не без отчаяния:

– Свободно!

– Свободно читает, – подтвердила бабушка, очнувшись. – По чтению «пять».

Ну, хотя бы! Да, по чтению «пять», несмотря на то, что это не самое лучшее доказательство.

Я все еще трепыхался, все еще отстаивал в душе свою серьезность, а библиотекарша протянула руку с обрезанными перчатками к полке и взяла толстенную книгу. Как она угадала? Я хотел бы почитать вот такую толстую, мохнатую, это значит зачитанную и оттого, бесспорно, интересную книгу.

– Вот, – сказала она. – Рекомендую именно тебе. Борис Житков. «Что я видел».

«Что я видел» – будто эхо, отозвался я сам в себе, совсем неосознанно, механически, то ли спрашивая, то ли утверждая – что я видел-то, на самом деле?

– Эта книга, – сказала старушка, вдруг отвернувшись к окну, – про то, как люди жили до войны, и про то, как мальчик вроде тебя путешествовал на пароходе.

Я кивнул. Бабушка облегченно вздохнула.

Помнишь ли ты свою первую книгу?

Нет, не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над каждой страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно птенец, пробуя звуки собственного голоса, складывал из букв знакомые слова.

Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал – или тебе помогли выбрать – среди множества других, которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая навсегда запала в

твою память чудесными мыслями, волнующими словами, чернотой отчетливых, красивых букв, рисунками, переплетом – прекрасным или вовсе неказистым и даже запахом – резким запахом типографской краски, смешанной с клеем, или запахом какого-то другого дома, в котором, перед тем как оказаться у тебя, побывала эта книга?

Я помню очень хорошо.

Книга «Что я видел» была сразу – большой и толстой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!

Едва выучив уроки, я уселся за свой «десерт», за это лакомое блюдо. Герой книги плыл по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я, но ведь все дело в том, что там, на Волге, еще зимой шла война. Каждое утро Анна Николаевна передвигала на карте в нашем классе красные флажки, и прошлой зимой там, на Волге, у самого Сталинграда, флажки словно застряли. Анна Николаевна приходила хмурая, можно было подумать, что она весь день останется такая, но учительница постепенно оживала, смеялась, даже смешила нас какими-нибудь шутками, а вот по утрам хмурилась, пока флажки на Волге вдруг зашевелились, двинулись вперед, к границе.

Потом она нам рассказывала, что знала про Сталинградскую битву, про то, как наши сперва защищались, как держались за каждый камень, а в это время готовились силы, подходили к Волге новые войска и, наконец, наши окружили фашистов, захватили клещами, будто какой-нибудь ржавый гвоздь, да и выдернули его.

В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они длинными колоннами, откуда-то из-за горизонта, а наши командиры в белых полушубках смотрят на них презрительно. И вокруг одни печи торчат вместо домов.

А в книжке, которая мне досталась, никакой войны нет, по Волге плывет пароход, похожий на льдину, такой он белый и чистый, и на нем плывет мальчик, который видит много всяких интересных вещей.

Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее и оттого было еще прекраснее.

Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое, время от времени вставал из-за стола и шел к бабушке, вспоминая, как мы записывались в библиотеку.

- Но почему ты сказала, что так раньше барыни одевались?

- До революции, – говорила бабушка. – Видать, приезжая, старушка-то!

- Откуда ты взяла? – смеясь, спрашивал я.

- Да я и сама не знаю откуда, – улыбалась бабушка.

Я снова возвращался к книге, прочитывал еще одну главу и переспрашивал бабушку:

- Значит, через десять дней, если не прочитаю, надо вернуть?

- Не вернуть, а продлить, – поясняла бабушка. – И книгу можно не носить. Зайдешь, попросишь, чтобы продлили.

- Надо ее в газету обернуть, - говорил я.

- Да и корешок неплохо подклеить. Страницу какую, если порвана.

Так мы вспоминали строгие библиотечные правила, выполнять которые мне хотелось неукоснительно и с радостью.

- А вдруг она графиня? - спросил я бабушку уже перед сном.

- Кто? - испугалась бабушка.

- Ну, эта старушка? Библиотекарь?

Мама рассмеялась. Весь вечер она слушала, как мы, перебивая друг друга, говорили о библиотеке, о строгих читательских правилах, просила меня прочитать вслух главу-другую из библиотечной книги, хвалила за то, что читаю бойко, быстро, не спотыкаясь, громким голосом, с выражением. Рассказали мы и про старушку в барской шубе.

Мама рассмеялась, когда я задал дурацкий вопрос, а бабушка ничуть не удивилась.

- А что? - сказала она. - Все может быть.

Это же надо, к чему приводит неосторожное словцо. К настоящему скандалу! Почти к драке!

Сказанное мной накануне перед самым сном я никак больше не обдумывал. Стукнул кулаком в подушку, чтобы мягче была, повернулся на бок и провалился в сон, как в омут, ну а утром не до размышлений - бегом к умывальнику, бегом к столу, потом бегом в школу. Пока за парту не усядешься, не затолкаешь внутрь ее свой облупленный портфельчик, думать некогда.

Так что шестеренки, колесики, шурупчики, которые в голове крутятся, если думаешь, у меня в то утро еще стояли, еще не двигались, когда я, наспех переведя дыхание, брякнул снова, как вчера:

- А может, она бывшая графиня?

- Кто? - выдохнул Вовка. Все у него, как говорится, кругом пошло - и лицо, точно блин, и глаза, будто шарики, и уши, как кренделя.

- В библиотеку-то записался? - спросил я.

- Ну! - подтвердил он.

- Библиотекарьша старушка была?

- Ну! - воскликнул он, уже догадываясь. - Она?

Я кивнул.

- Откуда ты взял? - жарко шепнул мне Вовка, приблизившись.

- Да ниоткуда, - возмутился я. - Пальто у нее такое, вот и подумал.

Я еще только подумал, я всего лишь навсего предполагал, а Вовка уже прыгал между партами,

в проходе, и орал на весь класс:

- Вы слышали? Старушка-то! В библиотеке-то? Графиня! Графиня!

Так рождаются слухи. И возникают нелепости, которые могут закончиться неприятностью и мордобоем. Напрасно на всех переменах того злополучного дня я подходил к людям из нашего класса и, взяв за пуговицу или даже за рукав, объяснял, что просто спросил, не графиня ли библиотекарьша.

Мне показалось, говорил я, никаких фактов у меня нет, просто на ней очень странное пальто, до революции такие носили богатые барыни, но ничего объяснить было невозможно, народ словно сошел с ума: такое ясное дело, и никто не мог понять.

События того дня взбаламутились у меня в голове, поэтому я не мог вспомнить, кто именно мне отвечал, но вот сами ответы я помнил отлично, потому что они поражали до глубины души своей бестолковостью.

- Очень! Очень! - сказал мне кто-то в ответ на мое объяснение.

- Что - очень? - удивился я.

- Очень похожа на графиню, ты прав.

- Да я не знаю! Я просто спросил! Я подумал!

- Правильно подумал!

Фу ты! Я про одно, а они про другое.

- Да нет, это только такая мысль, - доказывал я другому.

- Чудак! Это здорово! - смеялся кто-то в ответ. - В нашем городе - и! - собственная! - графиня!

Сперва я всерьез стремился восстановить истину, потом меня смех разобрал от этой всеобщей бестолковости, а к концу дня едва сдерживался, чтобы не зареветь принародно.

Одна Нинка Правдина из всего класса справедливый диагноз поставила моей выдумке:

- Глупистика!

Но окончательно из себя вывел все тот же Вовка. На всех переменах, я заметил, он стремглав вылетал из класса, бегал по коридорам, разносил сплетню по этажам, а перед последним уроком, даже опоздав на него, он приблизил ко мне круглую, как шар, стриженую голову и прошептал торжественно:

- Еще и граф есть!

Я сорвался.

- Враль! Враль! - прошептал я Вовке с отчаянием, ухватился за парту и, навалившись на друга всем телом, скинул его в проход. Есть такой школьный прием.

Тут же, конечно, разразился скандал, потому что все захохотали, Анна Николаевна застучала по столу указкой, чтобы уgomонить народ, а нам с Вовкой велела выйти из-за парты и подойти к

печке. Отдохнуть. Охолонуться, как выражалась она.

Какое счастье, что Анна Николаевна никогда не выясняла отношений между нами. Кто и что сделал, сказал, подумал. Просто предлагала выйти вперед, пред очи, как она выражалась, класса. Постоять минут пять или даже десять, а потом отпускала за парту. Помогало замечательно. Все-таки торчать на виду у всех мало кому нравилось. Если кто-то поначалу хорохорился, то через пять минут это проходило и наступало уныние.

Конечно, вдвоем между партами, учительским столом и печкой стоять было легче, чем одному, но мы с Вовкой сопели и расстраивались оба, потому что никто не считал себя виноватым.

Нам бы, конечно, объясниться, хотя бы шепотом, хотя бы на уроке, когда мы, изрядно посопев, вернулись на свои места, но часто обида, будто маленькая и черная злобная собачка, бежит впереди понимания и мешает ему своим неслышным тьяканьем.

Уроки закончились, Вовка сорвался вместе со всеми, а я нарочно стал копаться в портфеле, чтобы не видеть его.

Не спеша я вышел на улицу.

Взбаламученность постепенно сменялась спокойствием, ясностью и тихой радостью: ведь дома меня ждала толстая книга. Это же надо! Я не успел ни рассказать про свою книгу, ни поспрашивать других – что им дали почитать. И все из-за одной глупой мысли – права все-таки эта великая отличница Нинка, – из-за своей глупости! Неужто все-таки отличники не зря самые умные? В душе я презирал отличников, а теперь выходило – ошибался.

Я брел по заснеженной улице, лаская себя мыслью о том, как накину на плечи бабушкин платок – ведь никто меня не увидит, – придвинусь к печке, может, даже заберусь с ногами на стул и открою свою толстую книгу – есть ли наслаждение выше?

И вдруг увидел Вовку. Но если бы одного! Над Вовкой стоял парень из четвертого класса, я его встречал в школе, белобрысый такой, довольно упитанный пацан, с рыбьими, бесцветными глазами, и держал Вовку за воротник. Другой рукой этот мальчишка крутил противогазную сумку с учебниками и повторял:

- Кэ-эк дам! Кэ-эк дам! – Но бить Вовку не решался, а спрашивал: – Будешь еще? Будешь?

Что бы там ни было между мной и Вовкой – это наши личные дела. Во всем остальном мы были друзьями, и поэтому, не доходя шагов пяти, чтобы меня не достала противогазная сумка, я сказал большому парню:

- Эй, оставь! – И прибавил, как бы уточнил свою мысль: – Не имеешь права!

Раньше были популярными такие выражения о правах: имею право! не имеешь права! И даже такое, чуточку, видимо, хулиганистое – качать права. «Ты чо, мол, права качаешь?», «Имею право!»

Ну вот. А этот, с рыбьими глазами, ясное дело, никаких прав не имел держать тут за шиворот Вовку и крутить противогазной сумкой у него перед носом.

Впрочем, надо признаться честно, всякие эти разговоры о правах велись просто так, для понту – тоже хулиганистое выражение, то есть для блезиру, понарошку, для видимости приличия, просто так, чтобы изобразить справедливость, потому что больше всех права качала всякая

шпана, хулиганье проклятое, которому никакие права не требовались, такие разговоры велись перед драками или еще какой другой несправедливостью для отвода глаз, дескать, для правого дела. Так что вопрос свой я задал под барабанный грохот собственного сердца, сжав покрепче портфель и примериваясь, как я шандарахну им этого белоглазого с противогазной сумкой.

Драться я не любил, больше того, предпочитал ретироваться, если собиралась толпа, где обычно начинали двое, а потом шло побоище – двор на двор, улица на улицу, школа на школу, а то и просто так – одни против других, и уж тут не поймешь, кто кого и за что, пока кто-нибудь не на шутку, а всерьез, точно заколотый, заверещит. Бывало, и правда, ткнут шилом, хорошо еще, если в мягкое место.

Сердце, словом, пошло ходуном, и я повторил как можно более нахальным тоном:

- Не имеешь права!

Белобрысый внимательно, с какой-то едва скрытой печалью посмотрел на меня и сказал не очень уверенно:

- Проходи! Тебя не касается! – И снова принялся крутить противогазную, довольно увесистую сумку перед Вовкиным носом. – Ну, будешь еще? Ты это выдумал? Про графиню?

Вот оно что! Про графиню? Ну, хорошо, даже если это и так, какое ему дело?

Я ему что-то вроде этого и сказал.

- Значит, есть дело! – ответил он, вновь вглядываясь в меня.

- Тогда отпусти его, – велел я. Отчего-то сердце успокоилось. Уже не громыхало на всю улицу. – Это я придумал.

Вовка впервые взглянул на меня за все это время. Какой молодец, запоздало восхитился я им. Мог бы сразу сказать, что это не он, а я, но друг мой не из таких.

- Ты? – удивился парень.

Мгновение он стоял, все так же покручивая свою сумку, потом быстро шагнул ко мне и схватил за воротник – я даже отступить не успел.

- Кэ-эк дам! – сказал он мне. – Кэ-эк дам!

- Не имеешь права, – проговорил Вовка и замахнулся довоенным бухгалтерским портфелем на двух железных замках.

- Кэ-эк дам! – твердил свое рыбаглазый, но только говорил, видать, боялся ударить: хоть мы и второклашки, зато нас двое.

Я все-таки нашелся. Придумал такие слова, которые все объяснили.

- За что? – воскликнул я, поворачиваясь к нему лицом. – Ну за что?

Он отцепился от моего воротника и ответил обиженно:

- А за то!

- Но ведь бьют за что-то! - произнес я с выражением, будто артист на сцене. - Все остальное - мм, - я помычал, отыскивая нужное, единственно убедительное слово, и, к собственному удивлению, довольно быстро отыскал его, - варварство!

- А по-твоему не варварство - обзывать графиней замечательного и даже знаменитого человека? Который ни в чем не виноват! И недавно приехал в ваш город!

Парень даже покраснел от злости, а мы с Вовкой стояли разинув рты. Я лично ничего не понимал. Откуда этот пацан...

Он снова крутанул сумкой и сказал с отвращением, даже заикаясь от негодования:

- М-мелюзга!.. А то бы кэ-эк дал!

Белобрысый четвероклассник отвернулся от нас с Вовкой и пошел не оборачиваясь.

- А ты, дурак, толкался! - сказал Вовка, явно обращаясь ко мне. - Это же он и есть!

- Кто? - обернулся я к нему.

- Граф!

- Граф? - Ну этот Вовка. Он просто отупел сегодня. Ничего не понимает. И я закричал на него:

- Но я же только подумал, ты можешь сообразить? По-ду-мал!

- Что она графиня?

- Ну, вдруг!

- Вот я и говорю, - улыбнулся Вовка. - Значит, он граф, раз ее внук.

Теперь уже я схватил Вовку за воротник. Заглянул ему в глаза. Но ничегошеньки в них не увидел - ни капли сомнения, ни тени смущения. Глаза у него были ясные и невинные, будто у младенца. Нет, подумал я, толковать сейчас с Вовкой - только время терять. Будем считать, что сегодня он болен. Слегка очумел, например. Подождем до завтра.

Я кивнул своему дружку и сказал:

- Пока!

И побежал за белобрысым.

Он ушел недалеко, и я его легко догнал. Услышав шаги, парень обернулся и сказал:

- А, это ты!

Произнес таким тоном, словно сто лет меня знает и вовсе не он пять минут назад крутил сумкой перед моим носом. Но это хорошо, что он так сказал. Помог мне. Весь день меня мучила, доводила до отчаяния собственная оплошность. Хуже нет, несправедливо человека обидеть, пусть даже совершенно незнакомого, а тут ведь речь шла о старушке, которая дала мне книгу «Что я видел». Чем она виновата? Пальто у нее невиданное? Ну и что? Зато шапка какая - ободранная, щипаная такая, да и перчатки с обрезанными пальцами. Ведь холодно, а она нарочно обрезала перчатки, чтобы записывать удобнее, какую кому книжку выдала. Весь

наш класс к ней в библиотеку записался, и весь же класс хохотал, когда я – надо же! – не сказал, а только предположил, что она графиня... Какая дикая несправедливость, и эта несправедливость, придуманная мной, можно сказать, моя собственная несправедливость мучила и терзала меня весь день, и больше всего на свете я хотел избавиться от своей несправедливости, от своей вины.

- Ты ее внук? – начал я с самого главного.

- Все мы чьи-нибудь внуки, – ответил мне парень довольно сурово. Что-то быстро менялось у него настроение.

- Ну, старушки! Из библиотеки?

Парень покосился на меня и ответил:

- Допустим!

И я, захлебываясь, путаясь, повторяясь и, пожалуй, теряя оттого всякую убедительность, принялся объяснять этому внуку, как я записывался в библиотеку, как дали книгу и как я был потрясен удивительным, замечательным, неповторимым пальто его бабушки – таких не было ни у кого во всем нашем городе, а бабушка – моя бабушка! – сказала, что раньше, то есть до революции, так одевались только богатые барыни, вот я и подумал, а вдруг старушка из библиотеки – бывшая графиня.

Я испугался: еще бы, парень, отвернувшись от меня, остановился и начал тихо падать. Сперва он опустил голову, потом согнулся в животе, наконец у него сломались колени, и он рухнул на снег. Да еще и заикал. Это уж потом, через минуту, я понял, что он так смеется. Поикав, он захохотал. Валялся по снегу и ржал как помешанный. Будто какой-то с ним приступ.

Испуг у меня, конечно, прошел, но валяться от смеха в снегу рядом с этим парнем я не собирался. Что виноват, я понимаю, а хохотать у меня особых причин нет.

Это длилось минут пять. Уже толпа собиралась: две девчонки, похоже первоклассницы, шептались неподалеку. Какой-то красноносый дед с поднятым воротником – еще не остановился, но уже замедлил шаг, качая головой, бормотал что-то в сивые усы. А самое главное – из-за угла появилась наша Анна Николаевна. Окинув нас зорким взглядом, она, конечно же, сразу узнала меня, но бежать, скрываться теперь было бы самым пустым и к тому же бесславным делом. Я топтался над парнем, который все еще хохотал, и умирал от неловкости. Днем столкнул с парты Вовку, отсопел с ним вахту возле печки, а теперь снова в каком-то дурацком положении. Не дай бог, еще подумает, что в снег этого парня свалил я, доказывай потом, объясняйся!

- Эй, вставай, – позвал я внука библиотекарши, – училка идет!

Насчет училки я, конечно, опять загнул. Никто нашу Анну Николаевну так не звал. И не только мы, ее ученики, а все, кто знал, что она учительница, даже народ из других школ, потому что есть такие люди, к которым никакие прозвища и обидные клички не пристают. Они просто выше этих слов. Шагают себе, высоко подняв голову, и даже, если услышат дрянное словцо, сказанное вслед, никогда его не заметят. И тогда у тех, кто такое слово выговорить способен, сама по себе отпадает охота их вспоминать.

Зато других называли, я слышал. Они останавливались, громко возмущались и потом добивались, чтобы тому-то и тому-то записали в журнал замечание и вызвали в школу

родителей, а все равно не помогало.

Почему я назвал Анну Николаевну училкой? Хотел спасти свою шкуру – вот причина. Хотел чистеньким быть, чтобы она снова про меня плохого не подумала, как днем, в классе. Не хотел, чтобы она решила, будто я настоящий хулиган, здорового парня в снег свалил. Вот и брякнул, чтобы этот внук быстрее поднялся.

Она, конечно, была еще далеко и ничего не слышала, но разве только в этом дело?

Однако мое слово на белобрысого подействовало. Он вскочил, стал озираться, но, увидев Анну Николаевну, обернулся ко мне и сказал:

- Дурак! Какая это училка?

Учительница подошла уже близко и наверняка слышала эти слова. И значит, поняла, кто назвал ее так вначале. Мало того, что я белобрысого в снег свалил, так он еще и благородный, а я...

- Что же ты весь в снегу, Артур? – спросила Анна Николаевна, подойдя к нам и принимаясь отряхивать белобрысого. Выходит, они знакомы, еще не хватало, и сейчас этот малый начнет рассказывать про то, как я придумал графиню. А наша учительница улыбалась парню из другого класса, вовсе не замечая меня, своего ученика. – Решил испробовать первый снег? Ну и как?

- Хорошо, Анна Николаевна, – ответил он. – Пахнет, как... как, – он заикался, но без всякого, впрочем, смущения, просто слово выбирал, – как чистое белье, когда оно с улицы.

- Только наоборот, – кивнула она. – Не снег пахнет бельем, а белье снегом, морозом, чистым воздухом. Ну, передай привет Татьяне Львовне.

Она сделала несколько неспешных шагов, будто раздумывала, идти ли ей или поговорить еще немного с белобрысым парнем, который ей, похоже, очень нравился, и вдруг, совсем неожиданно, повернулась ко мне.

- А ты, Коля, – спросила она, внимательно разглядывая меня, – записался в библиотеку?

Я быстро кивнул.

Откуда она догадалась, как она узнала, что мне ужасно плохо? По моему лицу? По моей согбенной фигуре? А может, почувствовала, что я, по нечаянности обронив слово «училка», казнюсь теперь всей душой, и решила помочь мне, дать понять, что не сердится, зная мое настоящее отношение и к ней, и ко всяким другим выражениям? Великий и тонкий человек была наша мудрая и любимая Анна Николаевна. Мне бы хватило для полного ликования и этой одной ее фразы, ее вопроса, интереса ко мне, чтобы не только слова, но и мысли глупой никогда не возникло по отношению к ней у меня, а одна только пламенная благодарная любовь. Да не любви она добивалась. Ее, нашей любви, было у Анны Николаевны через край. Нет, она про меня думала, обо мне пеклась, о том, чтобы не давила никакая смутная печаль мою душу тяжелым камнем. И она не пошла дальше, не заторопилась, а спросила улыбаясь:

- И какую же книгу ты взял?

- «Что я видел», – пролепетал я.

- Бориса Житкова? - уточнила она. И вздохнула. - Какие вы счастливые!

Счастливые? Почему?

И я, и белобрысый парень смотрели на нее, не понимая, и тогда она легко рассмеялась:

- Конечно, счастливые! Ведь вы читаете столько чудесных книг! И все они еще впереди!

Доброе слово - будто крылышки за спиной. Идешь, ног не чуешь под собой, и словно ты выше, словно летишь. И мысли, надо сказать, тоже высокие. Например, ты вырос, стал взрослый и приходишь в школу с целой охапкой сирени. Анна Николаевна, конечно, не узнает тебя, охает, требует назвать имя и фамилию, а ты, допустим, только смеешься, а сам в генеральской форме, это да! Или едешь в шикарном ЗИСе, каких в нашем городе нет и быть не может, их только в кино показывают, они там по Красной площади проезжают, но ты, тем не менее, подъезжаешь вот в таком ЗИСе прямо к школе, конечно же, сам за рулем, неторопливо выходишь, тут сбегается народ, уроки прерываются, возле автомобиля толпа учеников, а ты проходишь в учительскую, в этот раз можно, чтобы тебя и узнали, ничего, и ты просишь Анну Николаевну пройти с тобой, она спрашивает, куда да зачем, но ты сурово молчишь, потому что так надо, берешь ее под локоток, взрослым полагается, я видел, усаживаешь в машину, библикаешь протяжно и торжественно, народ расступается, а ты медленно везешь учительницу - машина должна быть открытой, чтобы все прохожие видели, кого и куда ты катишь, - прямо к театру, и там все уже сидят на местах, полный зал, вы входите, все хлопают и встают, и тогда ты поднимаешься на сцену вместе с Анной Николаевной, понятное дело, и, когда народ стихает, объявляешь, что правительство наградило замечательную учительницу нашего города Золотой звездой Героя всего Советского Союза. Вот так-то! Зал ахает и хлопает в ладоши изо всех сил, а ты сам же и прикрепляешь награду к белой кофточке Анны Николаевны. Все. Она тебя целует. И говорит шепотом: «Ох, я и не знала, какой у меня ученик. Ведь я же тебе даже двойки ставила, подумать только!»

И все в таком духе.

Но сколько бы человек ни парил в небесах, на землю все равно надо спускаться. Когда я приземлился, рядом все еще шел белобрысый. И я спросил, вспомнив, как называла его Анна Николаевна:

- Ты не русский?

- Это еще почему? - насторожился он.

- А тебя как зовут?

- Артур.

- Ну вот!

- Чудак! - удивился он моему невежеству. - Это имя иностранное, а сам я вполне русский. Родом из Ленинграда.

- Да ну! - восхитился я. Про Ленинград столько разговоров шло, там блокада была, и любого, кто из этого города, сильно уважали.

- Мы с бабушкой у вас в эвакуации. Приезжие. А ты тут всякие небылицы сочиняешь.

Похоже, Артур снова обиделся. А мне стало вдвойне неприятно: надо же, кого графиней обозвал, осёл!

Я повесил голову – вот вляпался, не знаешь, как и выбраться из своего положения. И тут Артур похлопал меня по плечу.

- Но ты все-таки молодец, – сказал он совсем уж неожиданное.

Я встрепнулся.

- Почуял, значит, в ней что-то необыкновенное, да?

Я кивнул, не зная, чего ждать, какой ловушки.

- Что-то такое нездешнее, а? – спрашивал Артур, точно подбадривая меня.

- Ну! – ответил я, совсем как Вовка.

- Пальто такое небывалое, да?

- Ага!

- Так ты недалек от истины, – торжественно произнес Артур. – Она на самом деле не та, за кого себя выдает.

Мы остановились друг против друга, и я во все глаза таращился на этого странного, в общем, парня.

- Знаешь, она кто? – поддразнил он меня напоследок.

Я послушно помотал головой: откуда, мол, мне. Артур остался доволен.

- И никогда не узнаешь, если я не скажу, потому что она из-за своей скромности никому не признается.

Я уже совсем не дышал, а он все тянул.

- Так вот знай, – сказал он, когда терпенье мое иссякло. – Она никакая не графиня. Но и никакая не библиотекарша. Она заслуженная артистка республики. Балерина. Всю жизнь танцевала в Мариинке.

- Где?

- Такой театр в Питере! Старинный! Красивый, как... как... как сказка! Но балерины танцуют недолго, понимаешь? Пока молодые. Потом выходят на пенсию. И она, как состарилась, стала библиотекарем.

- Дальше! – потребовал я.

- Вот и все. Началась война. Отец ушел на фронт, мама работает в Ленинграде, а нас отправили сюда.

- Ну а пальто, пальто! – воскликнул я.

- Какой въедливый, - недовольно проворчал Артур. - Это пальто она в молодости носила. Когда танцевала. Ехали сюда, одежду брали. Побольше, чтобы продать, понимаешь?

Нет, я не понимал. Да и вид мой, наверное, выражал это.

- Никто его не покупает! Никто не решается в таком ходить! Бархатное! Дореволюционное! А сейчас война!

Я вздохнул. Наконец-то разобрался до самого до конца.

- Все понял? - спросил Артур. Я кивнул. Он сказал: - Ну, иди.

- А ты? - не понял я.

- А я здесь живу.

Мы стояли возле двухэтажного дома, как говорили в нашем городе, «низ каменный, верх тесовый».

- Это тайна? - уточнил я.

- Какая же тайна? - ответил Артур вопросом. - Только про пальто не надо, - сказал он, подумав. И спросил: - Ты человек надежный?

Я быстро кивнул.

- А то кэ-эк дам! - засмеялся он.

Вовсе он не злой был, этот парень, и вовсе не собирался он бить ни Вовку, ни меня, просто грозился. Теперь вот сам же над собой смеялся.

- Кэ-эк дам! - передразнил я его.

Мы посмеялись.

- Ты тоже, - попросил я, - про графиню - того, не говори.

- А жаль, - сказал он. - Бабушка бы посмеялась.

- Ну, если так.

- Она не узнает, что это ты. Скажу, мол, ребята в школе. И все.

Теперь-то, много лет спустя, я думаю, что Артур тоже был малышом и, хоть казался он мне тогда старше своих лет, рассудительным и серьезным, его желание рассмешить бабушку было совершенно детским и нелогичным. Про пальто он не хотел напоминать ей, а вот о том, что ее прозвали графиней, - пожалуйста. Но ведь и мысль-то о том, что, может быть, она графиня, появилась не просто так, а из-за ее необыкновенного наряда.

Да, мы были детьми, а детям так свойственно ошибаться, не зная, что последует за шуткой...

- Ты, наверное, начитался всякого, а? - спросил я Артура. - Бабушка любую книгу даст?

- Кстати, - сказал он, что-то вспомнив, - ты не читал такой роман? Называется «Янки при

дворе короля Артура».

Сперва я опешил. Как со мной разговаривают, будто со взрослым! Я взял самую первую книгу, «Что я видел», а меня спрашивают про настоящий роман.

Но я ловко вывернулся.

- Ха-ха, - воскликнул я, - так ты, Артур, еще и король?

Он довольно смеялся, а я подбавил дров в огонь:

- Не какой-то там граф! Король!

Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и маму своим сообщением. Особенно ликовала мама. Бабушка просто охала и ахала на разные лады, а мама - я ее такой никогда не видел за всю войну - от восторга места себе не находила. Расхаживала по комнате, разводила руками, наигрывала губами какие-то знакомые мелодии и при этом рассказывала, как давно, в молодости, когда она училась в ФЗО, на каникулы их повезли в Ленинград - чудесный, волшебный город - и там повели в театр, на балет, это была сказка «Щелкунчик» - какие изумительные костюмы, - а музыку исполнял огромный оркестр, наверное, человек сто одних музыкантов, а что за чудо занавес - малиновый, с золотыми узорами, да и сам театр - мраморные колонны, пол, по которому страшно ходить, потому что он похож на стеклянный и в него можно глядеться, как в зеркало, даже лестничные барьеры покрыты красным плюшем - этого не забудешь вовек, и все-таки главное - артисты, балерины в таких вот юбочках, - мама показывала, какие именно юбочки, - из газовой, прозрачной ткани, у них, этих юбочек, даже специальное название есть, пачки, ну и, конечно, танцоры, в облегających тело трико, но они маме не показались, потому что все больше стояли в тени и высказывали оттуда, когда надо было поднять балерину и покружить ее.

- Как, - удивлялся я, - прямо в воздухе?

- Конечно! - радостно смеялась мама. - Прямо в воздухе.

И еще выяснилось, что балерины танцуют только на пальчиках, редко стоят на всей ступне, да и то очень изящно, вовсе не так, как делают это обычно люди, и мама показала, как стоят балерины: подтянулась, подобрала живот, даже, кажется, выше стала, и одну ступню вплотную приставила к другой, ровно посередине, так что получилась буква Т. Тут мама одну руку вскинула - я даже испугался: вышло ведь очень неудобно, маму чуть покачивало, потому что ноги приставлены вплотную, да и под углом - запросто можно упасть. А она еще, как нарочно, что-то такое тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и давай руками махать - одна вверх, другая вниз.

- Ладно, ладно! - рассмеялся я. - Расскажи лучше, как же они на пальцах танцуют.

- У них специальные такие тапочки, - успокоилась мама, - белые или розовые, представляешь?

- А не спадывают, тапочки-то? - вступила в разговор бабушка.

- Вот еще! - махнула рукой мама, оскорбившись за балерин.

- А ноги не ломают? - не унималась бабушка.

- Чего не знаю, того не знаю, - вздохнула мама, возвращаясь с довоенных небес обратно в нашу жизнь.

Она подошла к столу, разлила по тарелкам завариху, села, взялась за дюралевую ложку, зачерпнула ею еду и поднесла было ко рту, но вдруг кинула ложку обратно.

- Гады! Гады! Гады! - крикнула она отчаянно и заплакала.

Я даже вскочил: что еще случилось! С отцом?

Самое страшное, самое дикое, самое несправедливое, чего мы боялись всю войну, - от первого дня, как он ушел воевать, и до его возвращения, - мысли, что с отцом случилась беда.

Ах как я страшился этого! И разве только я? На что мы не шли, лишь бы избежать несчастья, каким только не верили приметам! Нельзя было проходить под раздвоенным столбом, переходить дорогу перед белой лошастью, а встретив подводу с гробом, требовалось трижды плюнуть через левое плечо и скрестить большой и указательный пальцы на обеих руках. Суеверие множилось и росло в малом народе, и никакие взрослые уговоры не помогали - ни материнские, ни учительские. Да, я думаю, матери и учительницы наши дорогие сами с любым суеверием сто раз смирились и до конца жизни, несмотря, скажем, на партийность или образованность, согласились бы исполнить все правила примет да поверий, только хоть на шаг остановить беду, которая перла и перла из всех щелей - тифом, голодухой, похоронками.

Отойти, сгинь, несчастье! Изнемоги в лютоści своей бескрайней! Дай людям вздохнуть, опаматоваться, вспомнить, что есть на белом свете цветы, книги и даже танцы в сказочно красивых, волшебных театрах!

Может, оттого люди говорили вроде потише у нас в тылу. Принижали голос, когда хотели сказать что-то твердое даже. Боялись испугать криком остальных. Потому что крик одно означал - беду.

А тут мама закричала. И я вскочил.

- Гады! - еще раз крикнула она. - Что теперь с театром-то? Вдруг разбомбили? Что же они творят, эти гады!

Грех, конечно, это был, но невинный, детский грех - ругнул я про себя маму. Подумаешь, сказал я про себя, театр. Кричит так, будто с отцом что случилось. Впрочем, а так ли велик был мой грех? Да и грех ли это - любить и жалеть отца больше, чем даже целый драгоценный театр?

Став взрослым, вроде бы легко разумеешь, что театр нельзя ставить напротив отца, что и живой человек, и золотой дворец неповторимы, но одинаковая ли эта неповторимость - кто скажет... Нет, нет, только кажется, будто, став взрослым, легче жить и разбираться легче в разных сложных делах. Детство владеет клинком прямоты и справедливой однозначностью. Нет, я не пожалел театр, а испугался за отца, ругнул маму и облегченно сел на место.

- Фу, как ты меня напугала, - согласилась со мной бабушка, обращаясь к маме.

Она ничего не ответила. Ела завариху, вовсе не замечая еды, наверное, ушла обратно в свой чудесный театр, пусть, если ей так там нравится. Она устала, моя мама, она развеселилась первый раз за всю войну, пусть побудет еще немного в своей памяти, в золоченом дворце, где

показывают балет. Ей недолго радоваться, минута, и она вернется назад.

Мама встряхнулась, возвратилась из воспоминаний и сказала, глядя на меня:

- Пойдем в библиотеку вместе. Хочу увидеть замечательную артистку.

И прибавила, помолчав:

- Может, это она танцевала тогда, давным-давно?

Я читал свою толстую книгу очень долго - месяц или полтора.

Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую вечность на фронте. Не верилось только одному - что это будет бесконечно. Надежда и ожидание - единственное, чем жили люди. Все, что происходило сейчас, казалось временным. Но затянувшаяся временность требовала хоть коротких прикосновений к постоянству. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было воспоминание о постоянстве? Может, я хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою? Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? Не помню. Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув - для уюта - старый и уже дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен.

Книга делала со мной чудо: она говорила со мной разными голосами детей и взрослых, я чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел всплески огромных рыб в тяжелых струях реки, слышал металлический грохот якорной цепи и команды капитана, хоть и не морского, речного, а все-таки с трубкой в зубах. Я ощущал прикосновения человеческих ладоней, чувствовал запахи дыма рыбацкого костра, который доносился с берега, слышал мерное чмокание волны о дебаркадер и наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса.

Я теперь хорошо понимал маму, взрыв ее негодования, ведь у нее был свой мир ей только одной представимого прошлого. Она видела театр наяву, а я любил то, чего даже не видел, и это невиданное мною было прекрасно и удивительно.

Через десять дней я пошел в библиотеку, чтобы продлить срок своего чтения. Мама задерживалась в госпитале - то дежурство, то пригнали новый эшелон с ранеными, и тут уж она возвращалась поздним вечером, таким поздним, что я не выдерживал и засыпал, не дождавшись, когда она прижметя ко мне своей холодной, с мороза, щекой. Словом, на десятый день я отправился один в довоенный табачный магазинчик, который теперь оказался местом не менее замечательным: детской библиотекой!

Я всячески раздувал в себе праздничное настроение, даже немножко потрубил в охотничий рог, про себя, разумеется, и двадцатый раз мысленно прорепетировал слова, которые я скажу старушке-библиотекарю, бывшей, так сказать, графине, а ныне заслуженной артистке республики. Неудобно же, в конце концов, настоящей балерине говорить какие попало пустячные слова.

Итак, я вхожу, снимаю шапку, пусть там даже мороз трескучий стоит, и говорю:

- Здравствуйте, Татьяна Львовна, я прошу продлить книгу Бориса Житкова «Что я видел» на десять дней, моя фамилия такая-то, читательский номер одна тысяча тринадцать!

О-о-ох! Я остановился, как будто врезался в стену. Меня, кажется, даже назад отшатнуло от такого удара. Что же я за растяпа, как же я до сих пор не догадался: ведь в моем читательском номере есть цифра тринадцать! Чертова дюжина!

Как теперь быть? Ведь это же, это же... И я твердо решил - значит, так, сперва поздороваюсь, потом попрошу сменить номер.

Но это оказалось не так-то просто. Во-первых, народу в библиотеке оказалось довольно много. С одной стороны помещения был прилавок для младших, с другой - для старших, и старушка перебегала от прилавка к прилавку, едва поспевая записать книги.

Пришлось ждать. Но я так и не дождался. Народ приходил, уходил, а чтобы я остался один на один со старушкой, не получалось. Тогда я решил: будь что будет. Скажу при всех.

Не вышло у меня культурно, нет. Даже по имени-отчеству я ее не назвал, ведь я поздоровался, когда входил, а здороваться второй раз, да еще так вежливо, - явный подхалимаж, все, кто в библиотеке, сразу подумают, будто я хочу какую-нибудь особенную книжечку, и мне пришлось пробормотать что-то вроде этого:

- Мнепродлитечтоявидел.

Прошамкал, как старик, будто кашу пожевал. Вышло очень невнятно, но старушка не переспросила, несмотря на завязанную шапку, быстрым и хитреньким взглядом кольнула меня, вытащила бумажки, отметила в них что-то и вопросительно посмотрела на меня.

- Что еще?

- Мер лязя менить? - проговорил я, глотая почему-то начала слов и кляня свой деревянный язык.

Старушка, точно ворона, как-то боком поглядела в мою карточку, перевела непонимающий взгляд на меня, потом снова качнула голову к бумажке и вдруг довольно громко, так, что было слышно всем, сказала:

- Но ведь твой номер - одна тысяча тринадцать. А не тринадцать!

Народ, конечно, заржал, сначала тихо и неуверенно, потом - посмелее.

- А еще книжки читает! - пропищала за спиной какая-то девчонка, видать, жуткая кляуза и подхалимка.

Но Татьяна Львовна будто не услышала этих слов.

- Номера тринадцать, - сказала она еще серьезнее, - в нашей картотеке нет! Я его своими руками выбросила! Понимаешь? И твой номер - одна тысяча тринадцать.

Я весь взмок от этих переговоров, хотя каждое слово вылетало изо рта вместе с паром: такая холодина здесь стояла.

- А ты не боишься чертовой дюжины? - Татьяна Львовна подняла голову повыше, глядела из-под очков куда-то за мою спину.

Там возникло замешательство, опять послышался смех, только уже нестройный, неуверенный.

- Не боюсь, - лживым голосом ответил все тот же девчоночий голос, но я и сейчас не обернулся - плевать на эту врушу.

- Молодец! - сказала Татьяна Львовна. - А вот он, - она кивнула в мою сторону, - боится. Так зачем ему мешать?

За спиной засмеялись поувереннее.

- Ни мешать, ни помогать ему не надо, - сказала старушка. - Он сам решит, как быть, понимаешь?

И она проговорила еще одну фразу:

- Человек сам освобождается от страха.

Но ее слышал только один я. Все остальные смеялись. Довольно дружно над тем, что она сказала раньше. И громче всех повизгивал девчачий голос.

Я повернулся и вышел, забыв попрощаться.

«Идиоты!» - ругал я про себя эту смешливую публику в библиотеке. Да я уверен, каждый из вас цифры тринадцать, как черта, боится, недаром чертова дюжина, каждый ждет не дожидается, чтобы быстрее тринадцатое число прошло, да и вообще! А тут все хихикают, расхрабрились.

Эх, люди, неискренний народ. В толпе-то небось веселые, а пусти вон черную кошку через дорогу, остановитесь как вкопанные, писанные храбрецы!

Но что-то мне, кроме этих издевательств, еще мешало. Что-то было не так в библиотеке, как в прошлый раз, что-то переменялось.

Бывает же: человеку втемяшится в голову какая-нибудь форменная ерунда - добро бы что-то серьезное - нет, чепуха какая-то, нечто неопределенное, неясное, может, даже пустое, и он всю ночь ворочается, уснуть не может или ходит неделю словно аршин проглотил, никак в себя не придет - хочет вспомнить, понять, да ничего, как назло, не получается.

Я дошел до одного угла - сам не свой, до другого: нет, не могу. Остановился, чтобы прохожие чего лишнего не подумали, развернулся и назад к библиотеке - ничего особенного, тот народ уже весь разбежался, теперь другие собрались, а Татьяна Львовна?.. Да я загляну туда в окно! Хорошо, что оно широкое, ведь магазинное.

Я сразу нашел, что искал. Действительно, изменилось. Сама старушка. Все та же шапка и то же пальто, только на нем нет пушистого серого воротника, и Татьяна Львовна в самом деле походит на ворону с голым, ошипанным горлом.

Ясно. Забыла дома или сняла. Не дай бог, потеряла. Но вид совсем другой. Она стала строже и чуточку печальнее.

Так я и не смог понять - почему библиотека иногда полна народу, ступить и то некуда, а иногда совершенно пуста - может быть, даже целыми часами? Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, Татьяна Львовна была совершенно одна и подметала веником пол между прилавками.

Забавное знакомство получилось у поклонницы балета с заслуженной артисткой. Мама выхватила у старушки веник и принялась умело им орудовать, отчитывая Татьяну Львовну:

- Что же это вы, а? Или девочки к вам сюда не ходят? Заставили бы! Попросили! Сейчас белоручек нет! И библиотека для них! Должны помочь!

Она взглянула на библиотекарьшу, только когда разогнулась.

- Ой, а холодина-то! - Мама набрала в себя побольше воздуха и выдохнула длинную струю пара. - Как вы только работаете?

- А вот так, - сказала весело Татьяна Львовна и приставила одну ступню к другой, как в балете, - получилась буква Т. Только на ногах у нее были не тапочки, а огромные, с мужской ноги, валенки в калошах.

Мама всплеснула руками, залилась колокольчиком, будто девчонка, и быстро, со значением взглянула на меня: мол, помнишь? А сама снова шумела:

- Но пальтишко-то ведь не греет?

Татьяна Львовна скользнула рукой за полу своего нарядного пальто, пошуршала там, отстегивая застёжки, и движением, конечно же, артистическим, царским таким жестом распахнула его, как плащ или там какую-нибудь накидку. Делала она все это очень серьезно: будто ее патруль остановил и проверяет, и из-за этой серьезности мы расхохотались втрое веселее, когда под бархатом оказалась обыкновенная телогрейка, да еще подпоясанная блестящим ремешком.

Между тем я все-таки заметил, что на этот раз у Татьяны Львовны наряд опять неполный. Кроме воротника, исчезла пелерина.

- А вы что, - задиристо спросила старушка маму, - из исполкома? Или просто так, сестра милосердия?

Мама не на шутку смутилась. Только что отчитывала библиотекарьшу, пусть и шутливо, а тут заволновалась, даже заикаться стала.

- Да нет... Я родительница... Вот этого мальчика.

- Одна тысяча тринадцать. Коля... Коля...

Я подсказал фамилию. Пока Татьяна Львовна искала мою карточку, мама очень волновалась. Она, когда очень волнуется, всегда щелкает пальцами на руках.

- Не делайте этого, - неожиданно сказала Татьяна Львовна, не поднимая головы и продолжая писать. - Это вредно для суставов.

- Да! - Мама смутилась еще больше и, видно, передумала сказать то, что хотела. - Но так все же нельзя, - вернулась она к старой теме, в которой чувствовала себя увереннее. - Мы с Колей привезем вам немножко дров, уж не обижайтесь, что мало, несколько поленьев, и все-таки!

- Ой! - обрадовалась Татьяна Львовна. - Как я благодарна. Вы знаете, ведь меня обокрали! - Мама сделала испуганное лицо, но старушка замотала головой. - Нет, нет, не думайте ничего плохого, просто исполком привез мне дрова, их распилили, раскололи, все честь честью. Но я

их оставила на улице. Во дворе. К утру ничего не осталось, понимаете? И больше пока не дают! А чернила замерзают. Видите, пишу карандашом?

- Что - чернила! Вы же тут целый день. Простынете!

- А дети? А книги?

Мама улыбнулась.

- Дети придут и уйдут, а книги не замерзнут.

- Да вы что! - вскричала Татьяна Львовна. - Книги страдают не меньше людей. Только сказать не могут, поверьте. Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем как человек от голода - ведь осенью здесь было сыро. И вообще! Как человек виноват перед ними! Мы в Ленинграде топили книгами печки, сердце кровью обливается, а что делать - ни еду сварить, ни согреться. Вот я и решила тут: в библиотеку, и непременно детскую, вы понимаете?

- А как же балет? - не выдержала мама.

- Тс-с! - старушка смешно скорчила лицо, будто ей кисло стало. - Не надо, не надо, откуда вы узнали, сейчас не до него, и потом я стара!

Последние слова она произнесла, округлив глаза.

- В тридцатом, - сказала мама, волнуясь, но уже не щелкая пальцами, - я смотрела в Мариинке «Щелкунчик»!

- Нет, нет, - замахала руками Татьяна Львовна, - я уже не танцевала, и прошу вас - ни слова, ни слова! Не трогайте меня!

Мама извинилась, мы бочком отошли к двери.

Татьяна Львовна сидела, нахохлившись, опустив голову в большой шапке, и не смотрела на нас.

- Обиделась, - сказала мама, когда мы вышли на улицу, и вздохнула. - А за что? Что я такого спросила? Сказала?

Кому она говорила? Мне? Но что я мог ей ответить, чем успокоить? Я ведь и сам не разобрался, за что вдруг обиделась Татьяна Львовна. Артур сам сказал, что тайны тут никакой нет, стоило ли вешать голову?

Нелегко понять этих взрослых! То смеются, шутят, а то сердятся без всякой причины.

А мама все вздыхала. Молчала и вздыхала.

Мы вернулись домой, мама сняла с гвоздя мои санки - они висели на стене, чтобы не занимать лишнее место, и мы принялись укладывать на них дрова.

- Бабушке не говори, - попросила мама. Бабушка куда-то ушла, сейчас не помню, одним словом, ее не было дома.

- Что ей, жалко? - спросил я. Ясное дело, бабушка бы не стала возражать, узнай, куда мы хотим отвезти санки дров из нашего не очень-то значительного запаса.

Мама промолчала, и, как всегда бывает, когда люди хотят что-нибудь утаить, сразу за калиткой мы столкнулись с бабушкой.

мама неловко, стараясь не глядеть на нее, объяснила, куда и зачем мы собрались.

- Охо-хо! - вздохнула бабушка. - Без дров-то она еще сдюжит, а вот без еды...

- Сейчас все плохо живут, - ответила мама, думая, что бабушка это просто так говорит, вообще.

Бабушка хмыкнула.

- Все-то все, - ответила она, - да я вот сегодня поутру на рынке была. Вижу - библиотекарша свою перелину продает. Продала. Может, девочке какой на юбчонку, может, еще на что - взяла одна колхозница.

- Выходит, с себя продает? - спросила мама.

- То-то и оно, - сказала бабушка.

И тут сообразил я.

- А помните, еще воротник был. Так его нет.

- И воротник, значит. Скоро совсем разденется.

Она покачала головой, повздыхали обе.

- А может быть... - начала бабушка, но мама ее перебила:

- Нет, нет! Не примет. - И вздохнула. - Балерина ведь! Артистка! Гордая! И так обиделась, не знаю за что.

Бабушка ушла домой, а мы, подгоняя друг друга, покатали санки к библиотеке, опасаясь, как бы она не закрылась.

Уже стемнело, фонари не горели по правилам военного времени, и только рассеянный свет снега помогал различить дорогу, окруженную черными силуэтами домов, в которых люди аккуратно соблюдали светомаскировку.

Окна в библиотеке тоже были черны, и я уже принялся ругать себя и маму за ненужную торопливость, но мама дернула ручку, и нас ослепил яркий свет.

- Скорее, - услышал я знакомый голос.

Но легко сказать, труднее сделать. Мы завозились в дверях, втаскивая санки, они за что-то зацепились, пришлось побарахтаться, а когда дверь за нами закрылась, мама решила необходимым объяснить:

- У нас светомаскировка не строгая, мы же в тылу.

Но Татьяна Львовна будто не слышала. Она стояла, опершись рукой о прилавок с книгами, одну половину ее лица скрывала густая тень, вторая, освещенная настольной лампой, казалась очень желтой, пергаментной, иссеченной множеством неглубоких морщинок, и глаз - вспыхивал, подсвеченный сбоку, серого, даже стального цвета глаз, - другой только изредка

мерцал во тьме.

Она точно и не прощалась с нами, а ждала нашего возвращения и приготовилась продолжить прерванный разговор.

- Хотите, - спросила она, едва мы втащили санки, - я прочту вам стихи.

Мы остановились - мама в старом бабушкином платке и довоенном драповом пальтишке, и я в желтой шубейке с леопардовыми пятнами, подарке американцев, полученном по ордеру. Признаться честно, нам было не до стихов, потому что я еще не доучил уроки, а у мамы невпроворот домашних забот, но мы будто по команде повернулись к старушке: уж очень необычный, даже, пожалуй, торжественный был у нее вид. К тому же свет лампы, отражаясь в полированных стенах, множился десятками светящихся пятен - все это походило на какое-то таинственное священнодействие, на молитву или на какой-то концерт, куда приглашены всего двое - мама и я.

В тиши, пронизанной клубками света, голос Татьяны Львовны вначале показался мне несколько скрипучим и чужим, но тут же я забыл об этом, потому что стихотворение завораживало неизвестными мне словами и жизнью, которая совсем не походила на мою.

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном переплете.
Чуть легкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам, бывало.
- Уж поздно! - Мама, десять строк!.. —
Но, к счастью, мама забывала.
Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана и Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет... В воздухе свежо...
Том в счастье с Бэкки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры...
Кладбище... Вещий крик совы...
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки
Приемыш чопорной вдовы,
Как Диоген, живущий в бочке.
Светлеет солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком - корона...
Вдруг - нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»
Ушел во тьму, кто в ней возник,
Британии печальны судьбы...
- О, почему средь красных книг
Опять за лампой не уснуть бы?
О, золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О золотые имена:
Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий

Читать стихотворение Татьяна Львовна начала строго и торжественно, но, закончив, улыбнулась, и, хоть я многое не понял, от сердца отлегло, а мама захлопала в ладоши.

- Bravo! - шепотом воскликнула она. - Bravo!

- Ну чего ж вы стоите? - проговорила старушка и сразу превратилась из таинственной и величавой в обыкновенную, похожую на ворону с голой шеей библиотекаряшу.

Мы встрепенулись, я развязывал бечевку, которая стягивала поленья, чтобы они не свалились с санок, а мама принялась таскать их в маленькую каморку - она, как оказалось, была за полированной стеной. Там находилась и топка.

Мы сложили дрова, и мама заторопилась.

- Да, да, - сказала Татьяна Львовна, - мне тоже пора, а вы не обижайтесь, милая.

Она глядела на маму задумчиво и серьезно.

- Понимаете, это такая профессия, что, уходя со сцены, как бы умираешь. Все в прошлом. А жить одними воспоминаниями - несусветная мука! Вот я и не хочу! Не хочу!

- Не волнуйтесь, - сказала мама и погладила ее по руке. - И простите.

- А где вы узнали про меня? - вдруг спохватилась Татьяна Львовна. - В старой энциклопедии?

Мама быстро кивнула. Молодец, находчивая.

- Я тоже читал, - соврал я поспешно, не моргнув глазом.

- Ах, как все это далеко! - рассмеялась Татьяна Львовна. - А мы с вами в другой жизни. Война, холод, детские книги. Да, здесь не сцена, а - правда.

- Зачем нам, - проговорила мама, опустив голову, - такая правда?

- Ее не выбирают, - ответила старушка и прибавила: - Не унывай, все еще будет, и театр, и занавес, и музыка.

И она, точно маленькую, погладила маму по голове.

И вдруг библиотека закрылась.

Я заметил это не сразу, а лишь когда кончил читать свою лохматую книгу. Надо сказать, я ее, не без помощи бабушки конечно, слегка починил, поэтому, закончив читать ее раньше срока, дня два я еще истратил на ремонт: мы подклеили отпавшие листы, обернули книгу в газету, а сверху приделали кусочек чистой бумаги, с красиво обрезанными углами, по краям которого я прочертил по линейке цветной рант, а в середину вписал имя автора и название.

Когда все было готово и для верности бабушка прошла по новой обложке горячим утюгом, чтобы было глаже и красивее, я отправился в библиотеку.

На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, приклеенная с той стороны, белела записка: «Библиотека временно закрыта».

Я вернулся домой и тут же обнаружил: мне нечем заняться. Книга отнимала все мое свободное

время, и я уже отвык без дела болтаться на улице.

Я потоптался по комнате, заглянул к бабушке за загородку, где она постукивала кастрюлями, полистал еще раз «Что я видел» и, помаявшись, присел у этажерки. Книги, которые были у нас, читал до войны отец, кажется, к ним не прикасались с тех пор, если не считать, что бабушка елозила по ним раз в неделю влажной тряпкой.

Я вытащил их, принялся перелистывать, но все они были учебниками с непонятными чертежами. Лишь одна показалась мне необыкновенной. Прежде всего своей толщиной. Таких толстых книг я еще не видел, и можно только удивляться этому обстоятельству – ведь она лежала тут, в моем доме, прямо под носом. Один ее корешок мог бы быть обложкой для целой книги, и весила она – ого! – наверное, несколько килограммов. Второе, что понравилось мне, – название. Может, этот роман и для взрослых, но явно, что про сокровища, ведь книга называлась «Капитал».

Я выложил ее на стол – сидеть с ней у печки было неудобно, – накинул на себя платок и открыл первую страницу.

Медленно, возвращаясь не один раз к началу каждого предложения, я прочитал первую страницу и ничего не понял. Однако эта непонятность успокаивала и, кажется, согревала. Я задумался, потом облокотился на книгу и незаметно уснул.

Проснулся я от взгляда. Напротив меня сидела мама, прямо в пальто, глядела на меня, а у самой из глаз слезы капали.

Я снова перепугался, спросонья еще больше, воскликнул:

- Что еще!

- Ничего, ничего, – успокоила меня мама, вытирая слезы, – вот гляжу на тебя и плачу, маленький ты мой. Чего читаешь-то?

Больше всего я не любил, когда меня называли маленьким. Или считали таким.

- Про сокровища! – строго ответил я.

Мама подошла ко мне, поцеловала в макушку, мягко отняла книгу и поставила на этажерку.

- Это читать тебе еще рано, – сказала она, стараясь говорить необидно. – А вот то, что у нас книг дома нет, просто стыдно.

Пришла бабушка – в фартуке, с закатанными рукавами, сложила руки на груди, спросила, вздохнув:

- Где же их теперь возьмешь? Пока пусть ходит в библиотеку.

Чего они так всполошились, я не понял. Сказал, что, наверное, Татьяна Львовна заболела, библиотека на замке, надо будет спросить Артура.

Но назавтра Артура я не увидел. Переменки две просто разыскивал его, а на третью подошел к первой встречной четверокласснице и спросил, где он. Я всегда предпочитал говорить с девчонками, если что-то хотел узнать: они отвечали всерьез, а мальчишки ввали напропалую или дурачились: выпросит такой сперва, что да почему, а потом скажет, не знаю, мол, слыхом

не слыхивал. Только время потратишь. В общем, выяснилось, что Артур болен.

- И, кажется, тяжело, - добавила девчонка.

Я задумался.

- А тебе он сам нужен, - девчонка и не собиралась отходить, - или его бабушка?

- Хочу узнать, почему библиотека закрыта, - ответил я.

- Вот видишь, - укоризненно проговорила пионерка, - читать так всем охота, а чтобы помочь, еще уговаривать надо.

Ничего я понять не мог. Спросил про Артура, а меня тут же корить начинают.

- Ты из какого класса? - не отставала девчонка.

Я ответил.

- А! - махнула она рукой. - Не подойдешь!

- Ты чего, - попробовал я обижаться, но она побежала по коридору и скрылась за дверью.

Однако это было только начало.

Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос:

- Кто записался в библиотеку?

Руки подняли все.

- Чего читаешь-то? - тихо спросил я Вовку.

- «Маленький Мук», - ответил он.

Я слышал эту сказку по радио и сразу засмеялся, сказав Крошкину, что Маленький Мук - это он и есть. Вовка принялся сталкивать меня с парты, мы запыхтели.

- Да что это такое, все у вас миру нет, - не возмутилась, а удивилась Анна Николаевна. Очень ловко она умела стыдить. - Значит, Татьяну Львовну все знаете? - спросила она.

Класс радостно загалдел.

- И знаете, что библиотека закрыта?

Это знали не все.

- У Татьяны Львовны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для библиотеки привезут дрова. И она прислала записку. Просит помочь их убрать, потому что в прошлый раз дрова растащили.

Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требовала. Она просто смотрела на нас, и улыбка все отчетливее проступала на лице. Ее взгляд скользил по рядам, и, точно следуя пожеланию взгляда учительницы, мы поднимали руки.

- Я не сомневалась, - сказала Анна Николаевна, - но целый класс - это слишком много. Придут ведь и другие мальчишки, давайте отпустим девочек.

- Ла-адно, - ответил за всех Маленький Мук, - так уж и быть.

Бедняга, он еще не знал, что уже живет с прозвищем.

Когда мы пришли с Анной Николаевной после уроков к библиотеке, там уже гудела целая толпа. На двери по-прежнему висел замок, в окне белела записка. Дров не было.

Тогда Анна Николаевна повела нас во двор. Там действительно лежали бревна, сброшенные, видать, с машины как попало.

- Что ж, - сказала Анна Николаевна, - придется подождать. Наверное, сейчас подойдут пильщики.

Мы потоптались полчаса, никого не было. Толпа стала редеть. Среди самых старших я увидел девчонку, с которой разговаривал днем. Четвертый класс оказался, видно, не таким джентльменским, как наш, потому что девчонка очень нервничала и все задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными ушами. Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и сказала:

- Наши сейчас все в киношку удерут, что-то надо делать!

- Не страшно, - ответила Анна Николаевна, - зато останутся самые честные.

Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы, но и все остальные, однако заволновалась.

- Давайте принесем пилы, - сказала девчонка, - я, например, рядом живу.

- Кто же пилить будет? - спросила все так же громко Анна Николаевна.

Заорали почти все мальчишки.

- И топоры принесем, - пообещал кто-то.

- А вот это не надо! - сказала Анна Николаевна. - Это пусть сделают взрослые. Топоры не для вас.

В общем, еще минут через двадцать такой во дворе скрип поднялся! Наверное, пил пять притащили. А чтобы дело быстрее шло, работать решили изо всех сил и, раз народу много, часто меняться. Один раз я попал в пару с той девчонкой в пушистой шапке. Она все повторяла:

- Вот здорово, правда? Увидел бы Артур! Вот Артур бы увидел!

Будто она для Артура старается. Я ее так и спросил. Она покраснела, словно из бани выскочила. Сказала мне довольно оскорбительно:

- А я тебя днем за серьезного человека приняла!

Я хмыкнул. Знаем мы такие разговорчики.

- Хотела даже пригласить в актив.

- Куда? - удивился я.

- В актив библиотеки.

Я умолк, размышляя. Что это еще такое? Выдумают же! Мне в общем-то нравилось, как себя вела эта девчонка - горячилась, пилу притащила, шапку на лоб подтягивала. Может, она в Артура влюбилась, вот и лезет из кожи вон.

- У вас там небось одни девчонки? - сказал я ей.

Она опять покраснела. Но разговаривать с ней все равно тяжело.

- Мы ремонтируем книги, приклеиваем кармашки, заполняем карточки, и у нас не одни девчонки, а вот ты, видать, из тех, кто на книгах всякие глупости пишет, да еще и рвет их! - выпалила она одним духом.

Я! Рву? Пищу глупости? Мне хотелось ответить ей, чтоб слышал весь двор. Да я! Да что она понимает!

Но тут на меня тихо накатила дурацкая обидчивость, я взглянул на девчонку с презрением, фыркнул и отошел в сторону.

Немного погодя во дворе появился крепкий, кряжистый старик, оказалось, дед той девчонки, помотал головой, поговорил с Анной Николаевной, исчез, потом вернулся снова, но уже с колуном и начал рубить дрова, да так, что только треск стоял. Ясное дело, энергичная девчонка, у которой вдруг обнаружилось имя - Светка, стала всеми командовать, всех организовывать и гонять. Но ведь все это было глупо. Татьяна Львовна рассказала нам с мамой, что ей уже привозили дрова, даже распилили и раскололи, а их взяли да и уперли. Так что надо складывать не у стеночки, а под замок, может, даже прямо в библиотеку.

Я подошел к Анне Николаевне и сказал про это, но поблизости, как назло, оказалась Светка.

- Дрова? - заверещала она. - В библиотеку? Ты соображаешь?

И все стали смеяться надо мной. Старик, правда, не слышал, и Анна Николаевна промолчала.

В общем, мы делали пустую работу, подарок жуликам, и немного погодя я опять сказал об этом Анне Николаевне. Теперь Светки не было поблизости, слава богу. Но учительница позвала ее.

- Ты знаешь, где живет Артур? - спросила Анна Николаевна.

Эта Светка все знала.

- Сходи и спроси Татьяну Львовну: что делать с дровами?

Светка исчезла. А через пятнадцать минут во двор ворвалась Татьяна Львовна. Я не сразу ее узнал. То есть шапку я узнал, но все остальное... Она была в одной телогрейке, без своего великолепного пальто.

- Мои золотые! - закричала она еще издалека. - Мои бриллиантовые! Спасибо! Анна Николаевна, голубушка! Благодарствую вас!

Она запыхалась, едва перевела дух и, разобравшись в обстановке, велела нести дрова в комнатушку, где топка, и складывать возле стен.

- Как же? - удивилась Анна Николаевна.

- Украдут, украдут! - кричала Татьяна Львовна. - Этого нельзя допустить! Дети и книги не должны мерзнуть!

Мы принялись таскать поленья, возводя из них поленницу сперва в закутке, а потом прямо в библиотеке, возле стен. Татьяна Львовна и Анна Николаевна порывались работать с нами, но мы зароптали, и старик, Светкин дед, нас поддержал.

Мы входили и выходили, учительница и библиотекарь говорили между собой, и я слышал только обрывки их разговоров. Из них выяснилось, что Артуру уже лучше, и Светка осталась возле него, пока Татьяна Львовна побежала сюда, и что в Ленинграде по-прежнему тяжело, хотя блокада прорвана и письма ходят теперь чаще.

- Те из них, которые не погибают, доходят, - сказала Татьяна Львовна. Я прислушался.

- Кто - не погибает? - спросила, не поняв, Анна Николаевна.

- Письма. В грузовики с почтой кидают бомбы, думают, что там люди. И многие письма не доходят. Поэтому надо писать чаще. И повторять содержание. Из двух писем одно должно дойти.

Она вздохнула.

- Как там ваши? - спросила Анна Николаевна.

- Дочь перенесла дистрофию, но сейчас как будто поправляется, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, - ответила Татьяна Львовна, и я едва не рассмеялся. Выходит, она все-таки верит в приметы. Может, и цифру тринадцать на самом деле выбросила из карточек?

- Татьяна Львовна! - попросила Анна Николаевна. - Наверное, сейчас вам трудно. Но когда снимут блокаду, обещайте! Рассказать моим ребятам про Ленинград!

- Ох, но ведь надо подготовиться! - испугалась Татьяна Львовна.

- Вам? Готовиться? - засмеялась учительница. - Вы же там родились! Выросли! Стали знаменитой!

- И старой! - сказала Татьяна Львовна.

Обо всем они говорили, о разных разностях, только Анна Николаевна не замечала самого главного - вида. Ее вида. А мне бархатное пальто не давало покоя. Неужто все-таки продала?

Я дождался, когда они умолкли, любовно разглядывая нас, таскающих поленья, подошел к ним и спросил. Наконец-то спросил, внятно и ясно, не глотая и не комкая слова:

- А где же ваше замечательное пальто, Татьяна Львовна?

- Я укрыла им Артура, - сказала она, - у него ведь жар. - Потом рассмеялась, обращаясь уже к учительнице: - И знаете, - сказала она ей слова, явно не предназначенные для моих ушей, - в одной телогрейке я себя чувствую точно в театральном костюме, понимаете? Будто я не вполне

одета!

И тут Татьяна Львовна сделала несколько маленьких шажков вперед, ловко вскинула ногу и повернулась вокруг себя в валенках с калошами. И приставила одну ступню к другой, как в балете. А еще она грациозно подняла вверх руку.

Анна Николаевна зааплодировала. А мы засмеялись.

Вот это балет, подумал я. Балерина в телогрейке и ободранной шапке с черным бантом под подбородком. Но балерину это ничуть не смутило.

Она сделала шажок назад и низко поклонилась.

Все дрова мы все-таки не распилили. Вошел Светкин дед и сказал, раз, дескать, так, то лучше остальные бревна не трогать, оставить целиком, бревно-то, пожалуй, не утащат, а в воскресенье эту работу завершить. Пусть бы, правда, еще родители подошли, может, есть какие мужчины, на колку дров, остальное ребята сделают, мол, все какие молодцы.

Татьяна Львовна снова заволновалась, закричала:

- Серебряные мои! Золотые! Бриллиантовые!

И объявила - вот молодчина! - все, кто работал, могут взять книжки домой, если, конечно, хотят. Даже по две.

- Даже, - спросил я, - если ты еще не принес?

- Даже! - сказала Татьяна Львовна и вдруг при всех пожала мне руку. - Спасибо, Коля, одна тысяча тринадцать. А какая у тебя замечательная мама! А какая прекрасная бабушка!

Я весь взмок от стыда. Будто что упер, надо же! А Татьяна Львовна, снова обращаясь ко мне одному, произнесла:

- Я приглашаю вас всех в актив нашей библиотеки. - И опять засмеялась. - Да вы уже и так мой актив!

Непривычное это словечко вначале внушало мне холодок и опаску. Необъяснимо для самого себя, я предпочел бы другое, более простое слово или слова, не такие взрослые и строгие, как это, и сам ни за что не хотел поначалу пользоваться им, всячески ухищряясь при этом. «Пора в библиотеку», - говорил я, к примеру, бабушке. «Пойду, поклею». Или просто: «Я к Татьяне Львовне». И бабушка уже знала, что я иду не просто обменять книгу, а помогать, что я задержусь не по детской неумелости правильно тратить свое время, а для полезного дела.

Бабушкина душа ликовала, когда я отправлялся в библиотеку. Она обожала мои превращения в тихую мышь.

Что это значило, спросите вы. Только одно: вечный страх за меня и отчаянная боязнь, что я могу попасть в дурную компанию, шляться по городу с утра до вечера, курить в подворотнях, а то, не дай бог, и воровать по наущению старших предводителей.

Ради справедливости надо заметить, что бабушкины опасения не были лишены оснований. Город в годы войны невидимо для глаза делился на участки, которые как бы принадлежали мальчишеским компаниям. Во двор или даже квартал, где была, к примеру, многочисленная и

дружная шайка или сильный пахан, заходить было просто опасно и не только малолетним, но даже и не очень внушительным взрослым. К такому взрослому подбегали и начинали кланчить папироску, а когда взрослый цыкал на них, возмущаясь, изо всех щелей выбирались пацаны постарше и совсем большие, замыкали противника в круг и принимались его «оттягивать». Ну чо, мол, дядя, маленьких обижаешь? Папироски жалко? Дак они ведь не для себя! У них старенькие дедушки без курева дома маются. Взрослый вытаскивал пачку папирос, принаравливался выдать папироску-другую, но специально тренированные малыши подлетали к нему, выхватывали все, и самое лучшее, что мог придумать взрослый, так это молча уйти, а то ведь, как известно, куча муравьев может победить большого жука.

Во всяком случае, я такое ограбление видел однажды собственными глазами, и было это среди бела дня, и пожилой дядька с посеревшим лицом прошагал мимо меня и даже зацепил меня локтем, так что меня отшатнуло. Локоть у него был как бесчувственная оглобля, такой оглоблей можно крепко оглушить противника, и вообще дядька не походил на трусливого слабака, но все-таки предпочел не связываться с хулиганской оравой. А уж про детей и говорить нечего!

Впрочем, малый народ быстрее взрослых определял границы между кварталами и дворами, между владениями и царствами, безошибочно отыскивая безопасные пути вдоль границ. Самая главная истина этих правил заключалась в следующем: не сокращать пути, не заходить в проходные дворы, в глубь кварталов.

Так что бабушка моя волновалась не понапрасну, и главной мечтой ее было, чтобы я сидел дома, а по улице шел рядом с ней или мамой, и если куда уходил, так самое лучшее – в библиотеку, где, ясное дело, ничего плохого произойти не может.

И я жадно пользовался своей маленькой свободкой.

«Пора в библиотеку», – говорил я строго, и моя бабуля млела от моей серьезности. «Пойду поклею», – откладывал я в сторону учебники. Или молча одевался и уже на пороге небрежно бросал: «Я к Татьяне Львовне». Неслыханная самостоятельность личности, возведенной в высокий ранг актива.

А в библиотечном закутке, в комнате, дверь в которую волшебным образом распахивалась прямо на полированной стене, хранилась особенная тишина, настоящая на сладковатом запахе старых книг.

Эта тишина казалась мне вкуснейшим блюдом, которое надо смаковать не торопясь, с наслаждением, однако всякая вкуснота требует приправы, например перца или петрушки, и такой приправой к блюду пряной тишины был звук щелкающих и рассыпающихся угольев в печке и приглушенный голос Татьяны Львовны за стеной.

На столе в комнатухе лежали драные-передранные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, чистой тетрадкой, откуда разрешалось отрезать нужные полосы, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом оборачивать книгу в газету, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора.

Одетую мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я, уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновленный похвалой, свои образцы. Благоговейная тишина и запахи книг и клея оказывали на меня магическое действие. На моем

счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали, и не только! Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дому, когда у всякого человека есть множество способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине закуска, со счастливой охотой, точно играя в поддавки, ярко и зримо представляли передо мной яркие, расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев.

Кем я только не был!

И Филипком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с выражением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я с выражением шпарил все слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. Я улыбался – и въявь, и в своем воображении, будучи маленьким Филипком, – утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке, и вообще поражал воображение присутствующих.

Конечно, я представлял себя царевичем, сыном Гвидона, и опять менял действие сказки Пушкина, потому как поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или в щеку сватью и бабу Бабариху, я прилетал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму, Гвидону, что к чему в этой затянувшейся истории.

Или я был Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом вершине баррикады. Я отбивал чечетку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна из них не могла задеть меня, потому что этого не хотел я, и меня не убивали, как Гавроша, нет, я отступал вместе с последними коммунарами, прятался в проходных дворах, потом садился на судно, которое шло в Ленинград, а дальше, поездом, ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотеке, точнее, в библиотечном закутке, и от меня еще пахло порохом парижских сражений.

Сочиня исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивленные взгляды, может, еще и рот у меня открывался, кто знает, и слюнка текла, – одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но еще и уходил из этой. И чтобы окружающие не тарацились на меня, я предпочитал оставаться совершенно один, как тут, в закутке.

Если бы это всегда удавалось! Но нет, как назло и вечно не вовремя являлась Светка в сопровождении девчонок, и худшие мои опасения подтверждались: в активе собрались сплошные трещотки женского рода.

Боже, о чем они только не трещали! Про какие-то нитки и пуговицы, про разные способы вышивания, про неизвестных мне девчонок и мальчишек, про сестер и братьев, про старый кинофильм, о котором уже давно все всеми сказано, и про то, на каком жире лучше жарится картошка.

Правда, при этом девицы быстро и аккуратно ремонтировали книжки, но я был уверен, что они с таким же успехом чистили бы на кухне картошку: о прочитанном девчонки не говорили.

Когда Светка тараторила с подругами, подумать о чем-нибудь всерьез мне не удавалось. Единственное, что я мог, так это внимательно разглядывать картинки и вдыхать запахи потрепанных книг. Моя работа как-то сильно замедлялась, и я потихоньку убирался восвояси.

Мне казалось, девчонки приходят сюда посидеть просто так: тут тепло, и мухи не кусают.

Татьяна Львовна заглядывала «за кулисы» в двух случаях: когда библиотека пустовала и когда, напротив, народу было битком. Если в библиотеку набегала ребятня, книжки с прилавков точно ветром сметало – ведь их было не так уж и много, – и тогда Татьяна Львовна выбирала из горы, предназначенной для ремонта, или торопила нас с ремонтом:

– Ну? Готово? Давайте скорей.

Когда народ исчезал, она приходила просто посидеть, попить чаю.

На тумбочке за печкой стояла электроплитка с чайником, и Татьяна Львовна просила девчонок следить, чтобы в чайнике всегда была горячая вода. Ко мне она почему-то никогда не обращалась, не говорила, чтобы я следил за плиткой, и, если я сидел один, сама заходила и выходила время от времени, чтобы включить плитку или выключить ее.

Чай Татьяна Львовна пила гораздо реже, чем включала и выключала плитку. И что это был за чай!

Я не знаю, пил ли кто-нибудь во время войны настоящий, медового цвета, ароматный чай, ведь для этого требовалось много заварки, а ее не хватало, приходилось экономить, и все привыкли к жидкому чайку, но Татьяна Львовна превзошла всех.

Я видел, как она открывала железную баночку, на дне которой лежали чаинки, осторожно брала двумя пальцами ничтожную щепотку, а потом принималась сбрасывать крупинки обратно. При этом она оборачивалась к лампочке, смешно поднимала руку и строго поглядывала на щепотку через очки, шевеля губами. Можно было подумать, что она считает чаинки. Наконец заварка опускалась в фарфоровый чайник, заливалась водой, водружалась на дюралевый чайник, и Татьяна Львовна выходила.

Выходила – и забывала про свой чай. Через полчаса или минут сорок просовывала голову в закуток и просила:

– Девочки, включите плитку.

Девочки включали, чайник пытел, они сообщали Татьяне Львовне, что все готово, но наша старушенция не могла оторваться от своих дел, и мне, грешным делом, начинало казаться, что эта удивительная заслуженная артистка греет чай вовсе не для себя, а для кого-то другого, кого она ждет каждую минуту, но не может дожидаться.

Эта мысль преследовала меня.

Ведь даже когда Татьяна Львовна наливала все-таки себе чай, – угощая, конечно, и нас, – лицо ее вовсе не выражало удовольствия, удовлетворения, покоя, каким должно быть у человека, отдыхающего за чаем. Напротив, Татьяна Львовна выглядела усталой, какой-то недовольной и вела себя очень нервно – прислушивалась к каждому стуку за стеной, вздрагивала и повторяла: «Ой, кто-то пришел!» Ясное дело, приходили читатели, но за прилавками на время чаепития библиотекарьшу обычно сменяла Светка с подругами, и она могла бы сидеть тут спокойно, но Татьяна Львовна нервничала и никакого удовольствия от чаепития не получала.

Да и никто не получал удовольствия от такого чая – ни я, ни девчонки. К несладкому чаю нас всех приучила военная пора, мы отлично знали, что такое сахарин – большие и подозрительно белые крупинки, приторно сладкие, даже одной крупинки хватало, чтобы придать вкус стакану чая, и к жидкой заварке мы тоже привыкли, но у Татьяны Львовны получалась просто кипяченая вода, разбавленная почти прозрачной заваркой.

Да и жидкая заварка была половиной беды. Хуже всего, если в библиотеке предлагали морковный чай.

Тут уж Татьяна Львовна отмеряла щепотки, основательно, загружала фарфоровый чайник розовой сушеной морковью, и цвет заварки был плотным, коричневым, но вкус получался отвратительным – горячий жидкий компот или кисель, – отказаться неудобно, и единственное спасение – это чтобы чаек был погорячей. Когда обжигаяешься кипятком, вкус не так противен, а если морщишься, то непонятна причина.

В общем, если народу не было, Татьяна Львовна могла позволить себе посидеть в задней комнате за кружкой чая, забавно вытянув ноги. Попробуй я сидеть так дома, тотчас бы услышал ворчание бабушки, а в школе бы наверняка схлопотал замечание Анны Николаевны. А тут сидела взрослая женщина, даже старушка.

Выглядело это вот как: голова почти на спинке стула, тело на самом краешке сиденья, а ноги вытянуты вперед, запнуться о них можно. Словом, человек не сидит, а лежит, только не на кровати, а на стуле. Вид очень даже неприличный, особенно на первый взгляд. Правда, Татьяна Львовна, прежде чем растягиваться на стуле, объясняла, что это балетный прием, так быстрее отдыхают ноги и было бы еще лучше их задрать, желательно выше головы, например, поставить пятки на стол, тогда кровь отливает от ног. Однако задирать пятки выше головы она все-таки не решалась, видно, стеснялась нас. А растянувшись на стуле, сидела очень даже часто, прикрыв глаза, и вот так, с прикрытыми глазами, отхлебывала чай из дюралевой кружки.

Впрочем, всякие мысли о каком-то там неприличии мелькали на одно очень короткое мгновение. Не надо забывать, что Татьяна Львовна совершенно не походила на женщин, которые нас окружали, на наших матерей и бабушек, а потому должна была вести себя иначе, чем они. Одно ее бархатное пальто что значило! Поэтому я моментально согласился с ее привычкой, считая, что она имеет полное право на удивительное поведение.

Больше того, мне доставляло радость глядеть, как Татьяна Львовна, запахнувшись в свое широкое бархатное пальто, вытягивается на стуле и превращается в кокон нездешней бабочки, у которой к тому же под шапкой топорщится черный, всегда тщательно отглаженный бант. Кокон пьет чай, молчит, кажется, даже спит и вдруг произносит:

Выпьем чаю, о, подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

- Татьяна Львовна, – удивляется трещотка Светка, – а ведь про чай там не говорится.

Кокон прихлебывает чай и, похоже, ничего не слышит. Потом читает дальше:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Неожиданно Татьяна Львовна вскакивает, размахивая широкими рукавами, в одно мгновение превращается из кокона в бабочку и спрашивает:

- Ну? Кто помнит, как дальше? Давайте вместе! Хором. – И дирижирует себе и девчонкам:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

Молчу только один я, потому что хоть и слышал это стихотворение по радио, но слов не знаю.

- А что же ты? - спрашивает Татьяна Львовна.

Я заливаюсь краской, униженно чувствуя себя малышом по сравнению с этими девчонками, и говорю, потупясь:

- Мы Пушкина пока не учили. Только сказки читали.

Татьяна Львовна становится совершенно непохожей на себя. Как только что превратилась она из кокона в бабочку, так и теперь мгновенно превращается из забавной и странной старухи в строгую учительницу, перед взглядом которой чувствуешь себя неуютно.

- Запомни! - говорит она. - Пушкина нельзя учить. Его надо любить. К Пушкину надо спешить. Как на свидание! Понимаешь? И тогда... тогда...

Я быстро даю себе слово, что больше ни за какие коврижки не приду сюда. Вот уж не ожидал! За что меня стыдить, если мы на самом деле, тьфу ты, если нам на самом деле не задавали это стихотворение Пушкина? И вот, надо же, при девчонках стыдить меня. За что?

Я опустил голову, прикусив губу: не хватало еще разреветься тут. А Татьяна Львовна воскликнула:

- Друзья мои! Мой замечательный актив! А давайте-ка мы устроим городской конкурс! Юные чтецы Пушкина! Как прекрасно звучит! И как это важно нынче!

Девчонки во главе со Светкой что-то трещали, но я не слушал. Я поднялся и стал натягивать свое пальто, американский подарок.

Я надеялся исчезнуть в суете, раствориться в этом зале, чтобы больше не появляться в закутке с вечно кипящим чайником, но вдруг почувствовал на своем плече руку.

Татьяна Львовна как-то тихо зашла мне за спину, повернула лицом к девчонкам и теперь держала меня за плечо.

В другой руке у нее была толстенная книга в зеленом переплете и золотыми буквами на нем.

- Вот Пушкин, - сказала она изменившимся, дрогнувшим голосом. - У него необыкновенная судьба. Он эвакуирован из Ленинграда. Эвакуировался вместе со мной.

Татьяна Львовна закашлялась, точно поперхнулась. Потом произнесла еще тише:

- Пушкин, Лермонтов и Гоголь, три великих писателя. Я не могла представить себя без них. Возьми, Коля, эвакуированного Александра Сергеевича. Почитай с бабушкой и мамой. Лучше

всего вслух. Это собрание сочинений в одном томе. Издание Вольфа. Книга моей юности.

Я протянул руку, но Татьяна Львовна отдала книгу не сразу. Она быстро глянула на меня, улыбка скользнула по ее лицу. Татьяна Львовна передавала мне огромный красивый том так, чтобы я не сразу, а постепенно почувствовал его тяжесть. Я протянул вторую руку, конечно, я мог держать такую громадную книгу только двумя руками, да и то изо всех сил, – и тогда библиотекарьша, наконец, отпустила том.

Кажется, я даже покачнулся и принял Пушкина к себе.

Вышло так, что мы обнялись с великим поэтом.

Вернее, это я обнял его.

Конец того вечера получился странно необыкновенным. Потом я даже думал, что мой сон начался еще там, в библиотеке, и что путь домой в совершенно неприличном сопровождении девчонок вместе со Светкой тоже был частью сна. А ведь это я сам попросил девчонок проводить меня, можно ли выдумать такое? Да, попросил. И они не засмеялись надо мною, наоборот, сразу и вполне серьезно согласились, завернув предварительно замечательную книгу в газету.

Не каждому встречному объяснишь, что это значит, когда ты шагаешь в девчоночьей толпе, в самой ее середине, прижимая к животу огромный сверток – кирпич в газете, слиток золота? – да, как известно, чем меньше ты хочешь, чтобы тебя видели, особенно знакомые, тем больше шансов с кем-нибудь встретиться.

Меня увидел Вовка. Похоже, он шел в библиотеку, из-под мышки у него торчали книги, но, заметив меня, он как настоящий друг побежал рядом со мной и с моей охраной.

- Коль, – крикнул он, – куда это тебя ведут?

- Да нет! – ответил я не очень понятно. – Я сам!

- Врешь! – взволнованно крикнул Вовка я толкнул плечом Светку, пытаюсь вырвать меня из окружения.

Но Светка оказалась крепче, чем думал Вовка, и он чуть не упал.

- Врешь! – снова крикнул мой друг, и я, чтобы урезонить его, чтобы он без всяких разговоров поверил мне, ответил ему самыми серьезными словами, какие слышал из уст паханов возле проходных дворов:

- Падла буду!

На Вовку и правда это подействовало, зато девчачий конвой колыхнулся от возмущения, готовый, кажется, разбежаться, но по Светкиному возгласу тут же сомкнулся вновь.

- И он ходит в библиотеку! – воскликнула она. – И ему дали такого Пушкина?

Я подумал, что девчонки, пожалуй, могут отнять у меня книгу, и крепче прижал ее к себе. Еще чего! Не они давали, не им отнимать! А Вовке сказал:

- Приходи ко мне! Узнаешь!

Я похвалил себя. Хорошая мысль – позвать Вовку. Хоть эти девчонки и шагают рядом со мной, чтобы у меня не отняли Пушкина, ничегошеньки это еще не означает. Они сами по себе, и я сам по себе, а никакой не девчатник. Мало ли что может взбрести в голову тому же Вовке. Так что пусть придет и сам убедится: они нужны мне только для дела.

Словом, это глупо и неблагородно, но вместо благодарности я девчонкам нахамил возле своих дверей. Поклонился им и сказал, построив примитивную логическую цепь:

- Спасибо, дорогие янки!

- Какие еще янки? – фыркнула Светка.

- Вы разве не читали, – ехидно проговорил я. – Янки при дворе короля Артура!

Одни девчонки рассмеялись, другие хлопали глазами, не понимая юмора, а Светка покраснела.

- И этому человеку дали Пушкина! – опять воскликнула она.

Но теперь ее восклицание совершенно меня не задело.

Вовка примчался через десять минут. На моем столе лежал раскрытый Пушкин, поэтому объяснять ничего не пришлось. Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал, за это можно было ручаться. Каждому ясно, что главное во всякой книге – слова, но в этой книжице было еще полно картинок, штук сто, не меньше, и я пролистал только треть, внимательно разглядывая животных и лица людей. Когда появился Вовка, мы начали листать том с самого начала. Бабушка куда-то ушла, никто нас не сковывал, не мешал нам вслух восторгаться и охать от страха. Как тут не охнешь, если на картинке, например, мертвец или летают черти и под картинкой написаны такие слова: «Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине...»

- Давай почитаем! – торопился Вовка.

- Досмотрим картинки? – предлагал я, и Вовка охотно соглашался, потому что ведь и картинки, особенно страшные, смотреть интересно.

Слова, напечатанные под картинками, мы читали тут же, по очереди. Например, какая-то восточная спальня, женщина в ненашинских одеждах стоит на коленях перед другой, а внизу слова: «И молит: “Сжался надо мной, не отвергай моих молений”».

Мы оба хмыкаем, таких слов нет в нашей жизни – сжался, молений, – но торжественные выражения не отталкивают от книги, а, наоборот, притягивают к ней. «Пред бедной девой с невниманьем Он хладно потупляет взор». Тут уж, кроме слова «он», мы ни одного слова не употребляем, надо же, как интересно. А еще ангел с мечом в руке перед стариком с клюкой. «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачилсЯ, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился».

- Ты знаешь, какой это Пушкин? – спросил я Вовку.

- Ясное дело какой, – с достоинством ответил он. – Александр Сергеевич.

- Эвакуированный, понимаешь? Его библиотекаря из блокады спасла.

Мой друг откинулся, чтобы, верно, лучше видеть мое лицо, вздохнул с сожалением и постучал по своему лбу. Звук получился громкий и какой-то выразительный.

- Думать надо, - проговорил он, - Пушкина же давно убили. Какой-то фриц, на дуэли.

- Француз, кажется, - попытался поправить я, но Вовка даже не расслышал меня. - Она не Пушкина эвакуировала, а книгу Пушкина. Если бы можно было Пушкина спасти - эге-ге.

- Чего «эге-ге»-то?

- А чего впустую болтать? Он жил давно, мы - теперь. Я вот все удивляюсь, неужто у него корешей настоящих не было? Чтобы тому фрицу отомстить. Взять бы автомат и - тр-р-р. - Вовка дал очередь от живота и долго еще не мог успокоиться, хоть я и твердил ему, что тогда автоматов-то и в помине не было. - Ну ладно, - сказал он, вздохнув, - давай теперь почитаем.

Как мы читали Пушкина! Первый раз - самостоятельно, без руководства взрослых, пусть даже очень хороших и мудрых, как захлебывались мы радостью познания неизвестных доселе слов и чувств - точно подкрались к благодатному источнику, который зачем-то прятали от нас прежде, давая из него лишь по глоточку отфильтрованной влаги, и вот мы пьем без всяких помех, и нам ломит зубы студеность и новизна, и мы полны восторга, еще не умея выразить то, что переполняет нас до самого края, а только слушая себя, свое сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг душу какая-то волна, и как обрывается все внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу прочность.

Мы многого не понимали, потому что, как сказала бабушка, это не для нас, но на книгах не пишут: «Детям до 16 лет читать не разрешается», - и мы с Вовкой по очереди декламировали друг другу стихи, удивительно волнуясь, хотя как будто никаких оснований для волнения не было. Мы еще не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых счастливых мгновений, которые даруются человеку.

Прекрасно, когда взрослый советует, что надо прочитать ученику, без этого не обойтись, как не обойтись без помощи родителей, когда человек делает первые шаги. Но как надобно вовремя отступить, дать самостоятельность, если малыш уже твердо ходит, так следует безбоязненно отпустить человека к великим, когда он умеет читать и учится мыслить. К Пушкину прежде всего.

И не надо бояться, наоборот. Возвышенное, а может, и сложное, прежде чем осознать, надо вначале почувствовать, ощутить. Без спотыканий на незнакомой территории нельзя понять, что это и есть твоя родная земля!

Первым, полистав книгу, прочитал я:

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двигается ночная тень.

Вовкин выбор оказался попроще и повеселее. Он нарочно встал и прочитал стихотворение, обращаясь ко мне. Словно это он мне говорит, а никакой не Пушкин:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Тогда, как бы в ответ Вовке, мне досталась «Вакхическая песня». Я громко и с выражением читал эти стихи, и меня не покидало чувство, будто я слышал их.

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно,
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Поднимем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

- Здорово, - выдохнул Вовка. И стал лихорадочно листать том, вполголоса прочитывая первые строчки.

А я подумал, что среди незнакомых пушкинских слов все же есть такие, которые ни за какие коврижки просто так не выговоришь. «Юные жены!», «Нежные девы!», «Да здравствуют музы!» Скажи что-нибудь из этого в школе, тебя просто обсмеют, ну и сам ты обхохочешься, если, например, тот же Вовка такое брякнет. Но тут, в пушкинских стихах, нет никаких стыдных и неловких слов, наоборот, эти слова делают человека торжественней, что ли, возвышенней – вот как. Может быть, даже лучше.

- Вот! - воскликнул Вовка и, протянув руку ко мне, прочитал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Разве мог бы Вовка взять да и ляпнуть мне этакое: «мой первый друг!» А тут – сказал.

Это Пушкин Вовке помог, сказал Вовкиным голосом необыкновенные слова.

Я уснул, предварительно выяснив у мамы, что лобзания – это поцелуи, но мой сон оказался продолжением жизни, будто я просто перешел с одной стороны улицы на другую, вот и все, и слова мне слышались те же, точно я повторял еще раз стихи, которые мы прочитали, как бы соревнуясь друг с другом.

«На звонкое дно, В густое вино Заветные кольца бросайте!» – слышал я, и, как эхо, отзывалось вокруг: дно! вино!

А потом выплывали новые слова, тоже совершенно замечательные: «Душа тобой уязвлена!» Это надо же! Уязвлена!

«В крови горит огонь желаний!», «Что смолкнул веселия глас!»

Мы идем с Вовкой по улице, неподалеку от библиотеки, перебрасываемся, словно цветными мячами, этими прекрасными выражениями и только торжественно улыбаемся друг другу, но не смеемся – смеяться нельзя, это грех, бесстыдство, над такими словами невозможно смеяться, им можно лишь приветливо улыбаться, как цветам, как уважаемым старшим друзьям, и тут я чувствую чей-то взгляд.

Мне не по себе.

Кто-то глядит на меня, очень пристально смотрит, а я, как пришитый к Вовке, не могу отвернуться от него, талдычу: «Да голос мой душе твоей дарует то же утешенье!» Вот так-то, мой первый друг, мой друг бесценный! Но Вовкины глаза округляются, будто фары газогенераторки, он глядит куда-то за мою спину, и я наконец с трудом останавливаюсь и поворачиваю голову.

Боже! Скрестив руки, у стены стоит Пушкин в одном фраке, и на голове ничего нет. А на улице же зима, подвывает ветер, снежная крупа сыплется в кудрявые волосы.

Мы с Вовкой замираем, у меня нет сил даже спросить Александра Сергеевича о чем-нибудь очень важном, достойном такого удивительного момента, – я просто таращусь на него, а он усмехается и тоже молчит.

Молчать глупо, знаю я, надо поскорее завязать разговор, чтобы он не обиделся на такое негостеприимство, и я наконец говорю:

– Вам не холодно?

Он не отвечает, но мотает головой: не холодно. Странно, ведь зима.

– Александр Сергеевич, – прошу я, – почитайте стихи.

Но Пушкин отворачивается, недовольно косит на меня глазом.

– Почитайте! – прошу я.

А вокруг между тем собралась целая толпа, все, приблизившись к нам, останавливаются, никто не проходит мимо, и выглядит это не очень здорово, потому что все одеты, все в шубах и

шапках, а возле стены раздетый Пушкин, будто его шпана ограбила.

И тогда мне приходит в голову отличная мысль. Я делаю шаг к великому поэту, снимаю с себя шапку и прошу его:

- Наденьте! Вам холодно!

Я готов снять и свою леопардовую шубу, американский подарок детям заснеженной России, но Пушкин делает такой жест рукой, который означает, что ему не нужна ни шапка, ни тем более американская шуба.

- Тогда почитайте! - прошу я, и вся огромная толпа канючит вместе со мной:

- Почитайте стихи, почитайте!

И Пушкин наконец говорит. Нет, нет, он не говорит, он просто шевелит губами, голоса не слышно, но я понимаю, что он вполне явственно отвечает на просьбу толпы:

- Теперь, - узнаю я по губам, - ваше время.

«Теперь ваше время!»

Но что это значит? Конечно, наше, какое же еще! И на улице зима. И где-то там, далеко от нас, гремят бои. Идет Великая Отечественная война.

И вдруг я слышу Вовкин голос.

Пушкин смотрит, улыбаясь, на моего первого друга, и все поворачиваются к Вовке, а он с выражением, как заслуженный артист республики, читает стихи, которые отыскал еще вчера:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь - как раз умрем!
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Все хлопают, и Александр Сергеевич тоже, он улыбается Вовке, а тот резко опускает голову, потом плавно поднимает ее и снова будто бросает вниз, я знаю, так кланяются артисты, и вдруг слышу голос Татьяны Львовны у себя под ухом.

- Вот видишь, - говорит она, - а ты хотел его учить.

- Кого? - спрашиваю я недоуменно.

- Пушкина, - отвечает балерина и делает реверанс. Это такой глубокий поклон. Одна нога отставлена вперед, совершенно прямая, а на другой приседают и одновременно кланяются залу.

Но тут кланяются одному мне.

Давным-давно, став взрослым и даже седым, я до сих пор совершенно убежден, что Александр Сергеевич Пушкин приходит к людям, искренне любящим его. Не подумайте, что достаточно загадать, достаточно выучить одно стихотворение, достаточно слегка удивиться, прочитав, например, повесть «Гробовщик», и великий поэт тут же, как по щучьему велению, благодарно явится вам во сне. Не такой человек Александр Сергеевич! Он не принимает приглашений и приходит только тогда, когда ты по-настоящему взволнован, когда что-то необыкновенное произошло в твоей жизни – действительно важное, а не какой-то там пустяк. Ну, допустим, твой товарищ без лишних слов доказал, что он не просто товарищ, а настоящий друг. Или, напротив, тот, кого ты считал другом, оказался обыкновенным знакомцем, способным на гадость. Или однажды ты посмотрел на низкое звездное небо, на тихо мерцающее бесконечное полотно и впервые поразился этому необычайному величию, и вдруг сравнил себя с пространствами, которые окружают тебя, и спросил: для чего, зачем я? И есть ли смысл жить, если твоя жизнь похожа на краткую вспышку спички во тьме? И тебе потребовалась помощь, чтобы понять это непонимаемое, тебе стал просто необходим человек, который если и не знает окончательного и точного, как в математике, ответа, то бережет слова, способные утешить. Или ты победил в чем-то важном, в каком-то споре. Или, напротив, в этом споре проиграл. Или задался первый раз сложным – и простым! – вопросом, что такое честь? Совесть? Стыд? Любовь?

Вот если произошло что-то такое, выходящее за пределы твоей обычной жизни и обыкновенных рассуждений, если в тебе бушует буря или восторг, – вот тогда, без всякого приглашения, тебя может посетить Пушкин. И вовсе не обязательно, чтобы он сказал хоть что-нибудь, нет. Он может просто появиться. Он может напомнить тебе знакомое слово. Или подать мысль.

Он наконец может улыбнуться и этой улыбкой обещать надежду, успокоить, дать понять таким образом что все образуется, все будет хорошо, не надо торопиться с выводами, не надо спешить выносить приговоры.

А наутро, после встречи, тебе на память вдруг придут хорошие, хоть и не всегда понятные слова.

«И виждь и внемли», например. Или: «Душевной жаждою томим...»

Открой книгу Пушкина, любую, на твой выбор, почитай всего полминуты хорошо знакомые или хорошо забытые строки, и ты поймешь, что ищешь!

Всегда! Всегда!

Самое потрясающее в этой истории то, что Александр Сергеевич явился не ко мне одному, оказывается, но и к Вовке, вот чудо!

Мой первый друг рассказал про свой сон во всех подробностях, но за давностью лет я уже не помню этот рассказ. Хорошо знаю только, что сперва Вовка меня немного разочаровал, потому что у него был совсем другой сон, другая сцена и напрочь отсутствовала Татьяна Львовна. Да ведь главное не это. Главное все-таки, что Пушкин посетил не одного меня. Выходит, он заметил нас обоих. И это совпадение поразило нас настолько, что мы, совершенно не уговариваясь, как бы причислили Александра Сергеевича к богам. Да еще к таким, о существовании которых мы с Вовкой знаем только вдвоем. Хотя ведь все, даже, кажется, младенцы, знают великого поэта.

Отныне, встречаясь, мы с Вовкой вели странные речи, в которых незримо присутствовал

Александр Сергеевич. Ну, например, я спрашивал своего друга:

- Как ты вчера до дому довлачился? В обитель дальнюю?

А Вовка отвечал:

- Поздно уже прикандыбал. Почти что пред ясным восходом зари.

Или Вовка спрашивал меня:

- Ну что, бесценный, какие сегодня у нас уроки?

И я отвечал:

- Что пройдет, то будет мило.

Говоря друг другу эти слова, мы, конечно, шутили, но не так, чтобы очень. Наши речи скорее походили на какие-то упражнения. На какую-то подготовку, не без улыбки, ясное дело, и все же репетиции наши сулили что-то серьезное. Мы не думали так. Мы только чувствовали. Спроси нас в ту пору со взрослой строгостью в голосе, чего это мы так по-дурацки шутим, мы бы, наверное, смутились и перестали вставлять в свою речь пушкинские слова, но мы ведь переговаривались негромко, едва ли не на ухо говорили друг дружке свои замечательные тирады, по крайней мере, никому другому знаний своих не демонстрировали.

Лишь однажды Вовка сорвался. Но не сильно. Другие даже не поняли. Кроме Анны Николаевны. Но она ничего не сказала. Только посмотрела очень выразительно.

Дело все в том, что книжищу Пушкина, целое собрание сочинений в одном томе, Татьяна Львовна дала ведь мне без всяких условий. Это была ее личная, а не государственная, не библиотечная книга. И когда я спросил ее раз или два, к какому числу надо вернуть том, она ответила:

- Читай, наслаждайся!

И я наслаждался. Ясное дело, что не один, а с Вовкой.

Самый лучший способ читать Пушкина мы открыли в первый день, скорее всего случайно, но теперь уже и представить не могли, что можно узнавать классика русской литературы еще каким-то другим образом. Во всяком случае, читать про себя стихи Пушкина ни мне, ни Вовке не нравилось, и мы делали это вслух, чередуясь, как и первый раз, но теперь уже не вырывали стихотворения то из начала, то из середины, то из конца, а шпарили все подряд. И разучили, таким образом, много новых слов и замечательных выражений.

Так уж выходило, что слова эти и выражения легко и радостно впитывала наша память, похожая на губку, да ведь еще мы и упражнялись, вставляя в свои речи пушкинские обороты, поэтому Вовку было трудно судить за раскрытие тайны, когда он вдруг сжал кулак и крикнул:

- Вострепещи тиран! Уж близок час паденья!

Это было в начале последнего урока. Анна Николаевна рассказывала про последние известия с фронта, а Вовка, такая у него была почетная обязанность, передвигал флажки на карте под руководством учительницы.

Наши били фрицев, флажки двигались каждый день и в тот день скакнули здорово вперед. Вот

Вовка и не выдержал.

Все засмеялись его необыкновенным словам – все, кроме меня и Анны Николаевны – учительница же заглянула Вовке прямо в глаза, а потом долго смотрела ему вслед, пока мой друг шел к парте, усаживался, лез зачем-то в портфель.

– М-мда! – задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы объявила, что у нас в классе состоится конкурс на лучшего юного исполнителя стихотворений Пушкина и что это совпадает с рассказом заведующей детской библиотекой Татьяны Львовны про прекрасный город Ленинград.

О, это был замечательный конкурс!

Впрочем, может быть, это только кажется мне из моей сегодняшней жизни – ведь все, что бывает в детстве, кажется замечательным и неповторимым потом, много лет спустя, но ты уже безвозвратно изгнан временем из далекой и счастливой поры.

Маленький человек всегда норовит поскорее стать взрослым, и это ему удается. Но вернуться назад не дано никому. Только вот память – таинственная и волшебная пряжа, протянутая из настоящего в прошлое, золотая нить воспоминаний – способна соединить времена и повернуться лицом назад, лишь одна она...

А память мне подсказывает: да, это был замечательный и небывалый конкурс. Ведь стихи Пушкина читали вслух не только отличники, но и двоечники, не только образцово-показательные девчонки, но и самые хулиганистые пацаны, не только те, кто уже успел полюбить Александра Сергеевича, но и те, кто впервые произносил вслух строки великого поэта.

Потому что в пушкинском конкурсе были обязаны участвовать абсолютно все, начиная со второго класса.

Все-все-все!

Правда, это не означало, что каждый ученик каждого класса должен был выучить и прочитать совершенно новое стихотворение. Например, у нас репертуар состоял всего из четырех или пяти, да и то потому, что мы с Вовкой разучили разные стихотворения по толстой книге Татьяны Львовны, да еще Нинка Правдина, как обычно, чем-то необыкновенным удивила. Остальные шпарили одно и то же – «Зимнее утро» – «Проснись, красавица, проснись», – зато уж читали все до единого, без исключения.

Татьяна Львовна, неузнаваемо изменившаяся, в зеленом, с блестками, платье, к которому был приделан какой-то зверек с глазками, носом и белым мехом, точно совсем живой, надо же, – ходила из класса в класс, и, я думаю, из школы в школу, и отбирала юные таланты на заключительный тур.

Целый урок она просидела и у нас, неожиданно напугав меня и поразив остальных, захопала сначала мне за «Ариона» – «Нас было много на челне», – а потом Вовке за стихотворение, которое начинается словами: «Роняет лес багряный свой убор». Конечно, мы целую неделю учили их, проверяя друг дружку, старались произносить слова с выражением, будто мы из театра, но, как я понимаю теперь, обрадовали Татьяну Львовну не исполнением, а тем, что выучили стихи, которые не проходили в нашем классе.

Наверное, за старание мы попали на общешкольный конкурс, но уже дальше Татьяна Львовна ценила только искусство. Тоже, правда, со странностями.

Лучше всех стихи прочитал ее родной внук Артур, но премию дали не ему, а этой зануде Светке. Надо же, а я думал, она об одних пустяках трещать может, о пуговицах и нитках, о мальчишках и девчонках и о том, на каком жире лучше жарить картошку.

Светка получила приз, если память не изменяет, альбом для рисования, была командирована дальше, на городские состязания юных чтецов Пушкина, но там провалилась, а чемпионом стал какой-то большой пацан из чужой школы, которого я так никогда и не видел, потому что он учился не то в восьмом, не то в девятом классе и в детскую библиотеку уже не ходил. Да разве в нем дело!

Поражение нас с Вовкой не обидело и не разочаровало, напротив, мы все читали и читали Пушкина. Правда, грешным делом, порой приходилось отступать, «Евгения Онегина», к примеру, нам одолеть не удалось, а из прозы во втором классе мы прочитали только «Повести Белкина», более всего поразившись «Гробовщику». Однако и «Евгений Онегин», и «Пиковая дама», и все остальное не исчезло, не пропало, а настигло нас в свое время. Любовь же к Пушкину, удивление и восторг, не ограниченные хрестоматиями и детскими книгами, подарила странная старуха, бывшая артистка, знаменитость, необыкновенный человек нашего города, Татьяна Львовна.

Точно вчера мы с ней расстались: зеленое платье с белым зверьком вокруг шеи и широкими рукавами с блестками, какие не носят обычные женщины, черное бархатное пальто, которое под Новый год покрывалось серебряными звездами, вырезанными из бумаги, – Татьяна Львовна превращалась в волшебницу, в звездочета, в необыкновенность маленькой библиотеки.

Как же мерзла, думаю я теперь, она в те холодные дни, ведь шапку со своим смешным бантом она снимала, а на голову натягивала черный картонный колпак, как и пальто, оклеенный звездами, – старушка не отступала от своей роли ни в чем, а дрова кончались, приходилось экономить и топить через день.

И хотя два этих наряда Татьяны Львовны, два облика ее вечно перед моими глазами, как бы далеко ни уходил я от собственного детства, есть одно воспоминание в моей памяти, еще один ее портрет, самый драматичный из всех.

Только сначала я должен сказать, что чем ближе был конец войны, чем чаще мы слышали московский салют в черных тарелках репродукторов, тем лучше было настроение у всех, и это понятно.

Однако надо пояснить: настроение – это одно, а жизнь – другое. Настроение делалось все лучше и радостней, но жизнь меняется не легко и не просто.

Страна двигалась к победе с великим напряжением и – нет, не легче доставалась ей каждая новая победа. Наоборот, с великим трудом давался всякий новый шаг. Так что, салюты гремели и женщины плакали от радости и печали, а жизнь не становилась легче, и все так же холодно и голодно жилось в наших домах.

Начало этих событий врезалось в мою память очень отчетливо. Еще бы! Я вошел в библиотеку, а там стоял настоящий гвалт. Пространство между прилавками забито народом, и все, уже не сдерживаясь, громко разговаривают, пищат, смеются, а Татьяны Львовны нет и девчонок не видно, никто ее не заменяет. Отчаянно работая локтями, точно переплывая бурную речку, я

пробрался к потайной двери, открыл ее и увидел, что Татьяна Львовна плачет. Сидит одна возле стола, положила на него руки и прямо трясется.

Я прикрыл поскорее дверь за собой и встал как истукан. Ни разу в жизни мне еще не приходилось оставаться один на один с женщиной, которая плачет, пусть она старушка, и я даже вообразить не мог, что теперь надо делать.

Положить руку ей на плечо? Подать стакан воды? Сказать утешающие слова?

- Что случилось? - выдавил я из себя.

Татьяна Львовна подняла голову, но отвернула от меня лицо, чтобы я ее не видел.

Всхлипывая и задыхаясь, она проговорила:

- Помоги мне! Пойди туда!

Я? Но ведь я никогда не был за прилавком, никогда не выдавал книг, каждую же надо записать, и я ни за что не управлюсь. Однако бывают в жизни мгновения, когда надо поступать так, как велят обстоятельства. Не мог же я, на самом деле, отказать Татьяне Львовне, сказать ей, мол, я не сумею, дескать, лучше вытрите слезы и ступайте сами. Хорошо еще, что времени не было для рассуждений - ведь за тонкой дверцей гудела толпа.

Я повернулся, чтобы идти, а Татьяна Львовна вдруг простонала, протянув ко мне руки, будто я мог ее спасти.

- Артур заболел!

Из-за этого она так убивалась? Я улыбнулся и утешил:

- Так поправится же! Все болеют!

- Тяжело заболел!

Я минуточку подумал и решился на отчаянное:

- Так вы идите к нему. Я побуду.

Она качнула головой. Теперь Татьяна Львовна не скрывала от меня своего лица, и я поразился: какая же она глубокая старуха. Гораздо старше моей бабушки!

- Он в больнице, - сказала она и опять заплакала. - Это я, я! Не углядела!

Плечи ее тряслись, она снова уронила голову на руки, а я потихоньку разделся и вышел за дверь.

Сперва, пока, видно, открывалась дверь, стало тихо, народ подумал, что выходит Татьяна Львовна, и примолк, но, увидев меня, загудел еще пуще. А когда я встал за прилавок, тут уж публика совсем распоясалась.

Передо мной скакали и корчились разнообразные рожи - рыжие, белые, черные головы, карие и серые глаза, ощеренные в смехе зубы, оттопыренные уши, косички, челки. Мне даже показалось, что части ребячьих лиц отделились от их хозяев, сорвались со своих мест и беснуются в сумасшедшей пляске.

Я тряхнул головой. Носы, уши, губы и даже целые головы вернулись на свои места, но шум не умолкал. Напротив, я теперь различал отдельные слова и фразы, конечно, все до единого обращенные ко мне.

- Ну ты, библиотекарь, давай кор-роче!

- Прохессор, не тяни резину!

- Пацан, а ты грамоту-то секёшь?

Боже, как далека была эта речь от волшебных слов Пушкина! И еще, совсем по-взрослому, я подумал о том, какой же разный мы народ, ученики разных классов и школ. И как, наверное, нелегко разобраться в каждом из нас Татьяне Львовне.

Мне хотелось крикнуть в лицо этой одичавшей толпе, брякнуть несколько непушкинских слов, чтобы разинули рты от неожиданности, хоть на минуту умолкли, и я бы объявил им тогда, что залез сюда, за прилавок, не по собственному хотению, а из-за Татьяны Львовны, из-за того, что она не может сейчас работать и заменить ее некому, кроме меня, что, наконец, должны же быть людьми одуревшие посетители такого благородного заведения, как библиотека.

Но мне не хватило ни возраста, ни сил. Я вздохнул, взял книжки у того, кто стоял ближе, и спросил читательский номер.

Никто еще не учил меня этому - как доставать карточку из кармашка, как вписывать в формуляр название книги и ее библиотечный номер, я ведь еще только готовился к этому - а можно вообще без этого обойтись, сидеть себе тихо в задней комнате, подклеивать старые книги, рассматривать картинки и воображать самого себя в самых разных литературных обличьях, - но делать нечего, приходилось действовать без ученья, - и надо же! - у меня все получалось. То есть, конечно, не было быстроты, и я возился, будто крот, но зато все делал правильно.

Вот когда я оценил Светку! И ее девчонок!

Нет, не зря говорится, что друзья познаются в беде. В беде познаются не только друзья, но и вообще люди. Не зря все-таки народ, который орал в библиотеке, показался мне даже не масками, а носами, ушами, глазами, летающими в воздухе отдельно от лиц. И ведь никакого зла я не сделал этим ребятам. Просто они сорвались. Просто превратились в толпу, в такую массу, без головы и хвоста, в кучу малу, в свалку.

Ах, Светка! Где ты ходишь-бродишь? Нет чтобы тебе появиться в дверях, да и помочь мне. Я же ведь зашиваюсь, разве не понятно? Все делаю правильно, но это полдела, оказывается. Хорошо работать - это означает не только выполнять дело правильно, но еще и быстро.

Светка быстро трещала, но ведь и быстро чинила книги. И быстро записывала книги в формуляры.

- Ну ты, пентюх!

- Эй, копуша!

- Дай мне вон ту книгу, а то в лоб получишь!

Нет, в лоб я все-таки не получил, хотя угроза была совершенно реальной, но вот взмок весь до

последней нитки, до трусишек.

Боже! Светка явилась в дверном проеме, и мне она померещилась шестикрылым серафимом. Молча, но решительно она протолкалась сквозь толпу прямо ко мне, совершенно непедagogично какой-то толстой книгой, вроде Житкова, трахнула по одной челке, по другой, крикнула, чтобы все становились в очередь, и отправила меня к малышовой прилавку. Это было легче. Малыши были покорнее и тише.

Я благословлял Светку на все лады.

В тот же день я узнал от нее, что Артур заболел туберкулезом и что ему теперь требуется усиленное питание.

Еще через некоторое время бабушка сказал нам с мамой, что Татьяна Львовна каждое утро, видно, до открытия библиотеки, стоит на рынке с зеленым платьем на плечиках.

- Будто дежурит, - вздохнула бабушка, но я не понял. - Стоит на одном месте, - пояснила она, - но ничего у нее не выходит. Никто у нее это платье не покупает. Уж очень непрактичное. Никуда в нем не пойдешь.

Я вздыхал. Ясное дело. Всего две вещи остались у Татьяны Львовны - платье и бархатное пальто. Но вот беда, они такие красивые, что их никто не покупает. Все ведь ищут, что носить можно, а не чем любоваться.

Шел день за днем. Жизнь шагала вперед торопливой походкой, не каждую неделю я бывал в библиотеке, и не часто теперь мы с Вовкой собирались почитать вслух Пушкина, но про Артура, про беду Татьяны Львовны говорили все время.

- Стоит? - спрашивал я бабушку.

- Стоит, - отвечала она, вздыхая.

А я делился в школе этим печальным известием с Вовкой или Светкой.

Однажды вечером, раскрыв Пушкина, чтобы поглядеть перед сном прекрасные картинки, я почувствовал, что мама очень осторожно положила мне на плечо руку.

- Сынок, - вкрадчиво сказала она. - Отнеси-ка ты эту книгу Татьяне Львовне.

- Почему? - поразился я.

Ведь мы еще не прочитали ее. Ведь Татьяна Львовна сказала мне, и не раз, - читай, мол, наслаждайся. И я еще не насладился.

Примерно все это я и изложил маме, очень удивленный ее предложением. Все мне казалось совершенно убедительным в моих словах.

Но мама сказала:

- Представь себе, что Артур захочет почитать эту книгу. А ее нет. Она у тебя. И Татьяне Львовне неудобно просить ее назад.

Мама села напротив меня и очень внимательно заглянула в мои глаза.

- Ты видишь, - сказала она, точно взрослому, - какой деликатный человек Татьяна Львовна. И ты будь таким же - в ответ.

Если бы мама стала меня уговаривать или, хуже того, приказывать, я бы, конечно же, воспротивился. Но со мной разговаривали на равных.

Сперва я расстроился, но перед сном, уже в постели, решил, что так и сделаю. Во-первых, книгу рано или поздно придется вернуть, она же не моя. А во-вторых, если Татьяна Львовна подумала обо мне, почему же мне не подумать об Артуре. Да еще когда он в больнице.

Утром я рассказал Вовке о своем решении. Он помолчал - ведь ему тоже было жаль расставаться с такой книгой, - но кивнул.

- Теперь Пушкин ему нужнее, - сказал он.

И после уроков мы отправились ко мне, наперебой вздыхая, выгрузили все учебники и тетрадки из моего портфеля и поместили вместо них собрание сочинений в одном томе.

Мы шли в библиотеку нарочно медленно, передавая портфель из рук в руки. Не потому, что было тяжело, хотя, конечно, том нелегкий, а потому, что несли дорогой нам груз.

Нет, нет, это слово решительно не подходит!

Мы несли Александра Сергеевича, эвакуированного из Ленинграда в наш город замечательной старушкой, мы познакомились с великим поэтом сами, без всяких подсказок, и было горько идти, обнимая его в последний раз и зная, что мы расстаемся.

Даже комок стоял в горле, будто перед слезами.

Татьяна Львовна изменилась с тех пор, как я увидел ее плачущей. Раньше она радовала нас своей непохожестью на остальных женщин, на наших мам и бабушек, и эта непохожесть была, конечно, прежде всего в одежде, но и не только - теперь я понимал это.

Татьяна Львовна отличалась от всех своей одеждой, это верно, но и еще своей беззаботностью, вот чем, неумением - а может быть, нежеланием! - унывать.

Теперь она ничем не отличалась от наших родных. Ее лицо сморщилось и усохло, она стояла, ничего не видя перед собой, и была очень немногословна. Точно находилась совсем в другом месте.

Мы с Вовкой зашли в закуток, я велел ему обождать, вновь вышел в библиотеку и сказал Татьяне Львовне, что мне надо поговорить с ней. Она открыла дверь закутка, и я протянул ей Пушкина.

- Ах, вот он где, - сказала она рассеянно, - а я совсем забыла! Ищу, ищу его, нигде нет.

Неужели? Не может быть!

Я никак не мог поверить, что Татьяна Львовна забыла, где ее любимый Пушкин. Ведь она говорила, что он всегда с ней, что она представить себя не может без Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Татьяна Львовна сидела на краешке стула, гладила тисненый переплет и смотрела куда-то мимо нас. Потом сказала:

- Все - война!

Мы молчали, не очень поняв ее.

- Все война виновата. Говорят, они сожгли Царское Село.

Мы опять ничего не понимали. Таращились, наверное, на нее, а еще друзья Пушкина. И вдруг я понял, что Татьяна Львовна нигде не отсутствует, а очень внимательно смотрит на нас, переводя взгляд с Вовки на меня и обратно.

- В Царском Селе - лицей, - сказала она, - такая школа, где учился Пушкин.

Я кивнул. Мы ведь действительно читали стихи про лицей.

- Лицей сожгли фашисты, - вздохнула Татьяна Львовна, - и могилу в Михайловском... - она помолчала, выбирая слово, добавила: - Осквернили. Варвары.

Она улыбнулась, но это было лишь слабое подобие ее прежних улыбок.

- Ну, вы побродили по Пушкину? Почувствовали его? Услышали его сердце?

Мы, улыбаясь, кивали.

- Это такое счастье! - сказала она и кивнула нам. - Поздравляю вас. Поздравляю с этим счастьем.

Пора было или уходить, или, напротив, оставаться, чтобы поработать, поклеить старые книги, но Татьяна Львовна не хотела заканчивать этот разговор. Точнее, она все сидела, и мы стояли перед ней, своим видом показывая, что она может не беспокоиться, а вести себя так, как захочет.

- Я думала, мы спаслись, когда приехала из Ленинграда, - сказала она горячо, словно оправдываясь. - Главное - Артур, но он простыл раз, другой... Это я недоглядела.

- Поправится! - быстро сказал я.

- Поправится! - подтвердил Вовка.

Но такие уговоры, видать, она слышала уже не раз. Татьяна Львовна тихо улыбнулась, глаза ее наполнились слезами, и вдруг - мы просто обалдели.

Татьяна Львовна, заслуженная артистка в бархатном небывалом пальто, сползла со стула на коленки и перекрестилась.

- Господи, - воскликнула она, - если ты все-таки действительно есть, спаси Артура!

Она сгорбилась, превратилась в черный холмик, плечи ее опять задрожали.

Мы кинулись ее поднимать.

Она встала, обтерла щеки тыльной стороной ладони, сказала, успокаиваясь:

- Мальчики, простите меня! Я ведь старая, в гимназии закон божий учила. Да и вообще полжизни при царе прожила, старая перечница. Простите! Артуру плохо!

Мы не ушли после этого. Побыли еще с Татьяной Львовной. Мне пришлось встать к прилавку и выдать несколько книг. Вовка оставался с ней.

Когда я вернулся, он декламировал Татьяне Львовне пушкинские стихи по книге.

- А знаете, - сказала она, - если бы мы не уехали из Ленинграда, эту книгу пришлось бы сжечь.

Мы молчали, пораженные.

- На книгах варили суп. Ими обогревались. Знаете, какое ужасное чувство? Будто предаешь друга!

Недели через две Татьяна Львовна разделалась с зеленым, концертным, как я теперь понимаю, платьем.

Настала очередь бархатного пальто.

Опять бабушка рассказала, как Татьяна Львовна продает его. Приходит на рынок прямо в пальто, там же прилюдно раздевается, накидывает его на плечо и стоит в телогрейке на холодном ветру.

- Сперва мы с ней раскланивались, - сказала бабушка, - да я вижу, что ей неудобно. Стала обходить.

Но пальто не покупали. И вот в один печальный день бабушка встретила меня возгласом:

- Пушкина продает!

Я не понимал, о чем она толкует. Да бабушка, видать, и сама знала, что требуется разъяснение, и торопилась, захлебывалась словами:

- Я поначалу-то даже обмерла. Думаю, образок продает. Ну, икону. Блестит, а тут еще солнце выглянуло. Потом пригляделась, нет. Хоть и неудобно, дай, думаю, подойду. А как поближе-то стала, меня и осенило. На плече - бархатное пальто, а в руках - Пушкин. И держит его, ровно на крестный ход собралась.

Будто что-то оборвалось во мне. Оборвалось и ухнуло вниз. Я тяжело бухнулся на сундук.

Потом встрепенулся. Нужно немедленно побежать и увидеть, подумал я, бабушка, конечно, не выдумывает, зачем ей, но я должен убедиться собственными глазами во всем этом.

Нет, что-то тут не сходится. Ведь Татьяна Львовна вместе с ним эвакуировалась. Ведь это же книга ее юности, как сказала она.

Она говорила, что сжечь книгу очень тяжело! Такое чувство, будто предаешь друга. А продать - чем это лучше? Разве же это не предательство, продать Пушкина? Будто в рабство!

Я вскочил, потом снова сел. Сообразил, что сейчас идти без толку. Татьяна Львовна в библиотеке. Надо утром. Она ходит на рынок с утра, перед работой.

Отчаянные планы вертелись в моей голове. Кинуться, например, сейчас к Вовке, и обежать всех, кого только знаешь, по рублю, по два, собрать деньги и завтра ошарашить Татьяну Львовну. Подойти к ней и купить у нее Пушкина.

Или, если уже поздно, разузнать, кто купил его, догнать этого денежного дядьку и упросить его, чтобы он продал нам, потому что это наша книга.

Пушкиных много – есть тонкие книжечки, есть потолще, но том в издании Вольфа – совершенно необыкновенный, эта книга почти как человек, как сам Александр Сергеевич, и он должен всегда жить с теми, кто его давно полюбил.

Конечно! Выкупить Пушкина было бы самым правильным делом. Но бежать к Вовке бессмысленно, уж кто-кто, а я-то хорошо знал, как бедовали в его доме. Да и где не бедовали?

Я ждал маму.

Ждал ее с таким нетерпением, какого не знал еще до сих пор. Наконец, она пришла из госпиталя, озябшая, даже позеленевшая от холода.

Я надеялся на нее. Верил, что мама придумает справедливый выход. Может быть, у нее припрятаны деньги на черный день, – мы часто повторяли эти недобрые слова – черный день, – и я понимал, что к черному дню надо готовиться, что черный день настанет неожиданно, приходит бедой и горем, и лучше всего, если к черному дню будет хоть малый припас еды или денег.

Но как только мама возникла на пороге, озябшая и зеленая, я понял, что надежды мои наивны. Что мы ничуть не богаче других. И что купить Пушкина, который, конечно же, стоит немало, мне не удастся.

Что я не спасу великого поэта.

Был конец зимы, неуверенным шагом приближался апрель, то отступая под ледяными, пронзительными порывами ветра, то наступая, и тогда на наш заснувший город обваливалось слепящее небо в белых, по-летнему кудрявых облаках.

То раннее утро удалось на славу, словно нарочно подчеркивая, что природа и состояние души вовсе не обязательно должны быть в согласии, что красота природы вовсе не означает красоту жизни и что, запомнив эту простую истину, мне еще не раз придется удостовериться в несправедливости такого несоответствия.

Да, все непросто в этом мире, и вовсе не природа правит человеческой душой, как не душа правит природой, а только люди могут понять друг друга и друг другу помочь.

Я увидел ее сразу.

Татьяна Львовна не уходила в глубь рынка, стояла почти у входа, и все было так, как обрисовала бабушка.

На левом плече, задевая землю, висело бархатное пальто, а обеими руками, будто и в самом деле икону, она держала Пушкина, бережно прижимая его к груди.

Несмотря на ясное утро, ветерок поддувал знобкий, и Татьяна Львовна постукивала друг о дружку валенками в резиновых калошах, Однако сама она оставалась неподвижной, словно оледенелой, не то что остальные продавцы, которые переговаривались между собой, часто крутились на месте, некоторые толкались весело для сугреву, словом, были оживлены и даже возбуждены.

Покупатели к Татьяне Львовне подходили даже чаще, чем к другим, всех интересовало необыкновенное бархатное пальто, а на книгу никто почти не смотрел. Но и пальто не покупали, все только щупали его да посмеивались. Ну и цену спрашивали – так, из любопытства.

Я стоял за спиной у Татьяны Львовны и в упор глядел на ее затылок. И чем дольше глядел, тем больше жалел старуху в ватнике, подпоясанном нарядным лакированным пояском, и пальто ее необыкновенное, из той поры, когда она была артисткой, и книгу ее юности, и Пушкина Александра Сергеевича, и себя жалел, и Вовку, и библиотеку, где до войны был табачный магазин, и этих продавцов, которые тут толкнутся из-за нужды, и весь этот рынок жалел, и холодный наш городок.

Слезы навернулись на глаза, мир, окружавший меня, стал расплывчатым, и в это время Татьяна Львовна повернулась ко мне.

Я не хотел, чтобы она увидела меня таким, моргнул и стер слезы.

– Ну что ты? – сказала она дрогнувшим голосом и заплакала сама.

Я думал, что переполнен словами, я думал, сумею уговорить Татьяну Львовну не делать этого, но оказалось, что никаких слов у меня нету.

Ни единого, даже самого завалящего словечка.

Я глядел на нее, и губы у меня тряслись. Пушкин! Бедный Пушкин!

– Какая прелесть! – услышал я мужской, рокошующий голос. – Мечта моего детства, издание Вольфа! Наконец-то!

Я повернулся.

Перед Татьяной Львовной стоял еще совсем не старый капитан первого ранга – три звезды на черном морском погоне, а левая рука на перевязи. Он жадно взял Пушкина здоровой рукой, неудобно примостил его возле повязки, казалось, еще немного, и он уронит книгу.

– Сколько? – спросил моряк.

– Пятьсот.

– Не дорого?

– Топленого масла, – ответила Татьяна Львовна. И добавила: – Больному.

Капитан отдал деньги, схватил книгу и быстро пошел к выходу. У самых ворот он обернулся и пристально посмотрел на нас – на старуху в ватнике и мальчика. Потом опустил голову и торопливо зашагал прочь.

Татьяна Львовна глядела туда, где только что был капитан, побелевшими мертвыми глазами. Повернулась ко мне. Губы ее тряслись. Она что-то хотела сказать, но так и не сказала.

Такой я запомнил нашу библиотекаршу навсегда – в телогрейке с блестящим пояском. А на плече бархатное пальто.

Последний ее портрет в моей памяти.

Я успокаивал себя тем, что, может быть, Пушкин спасет Артура. Но даже великий Пушкин оказался не всемогущим.

Артур умер.

Да, да...

И эта смерть больно ударила всех нас – и меня, и Вовку, и Светку, и ее девчонок.

Тогда я не мог объяснить этого потрясения, мне просто было страшно глядеть на пожелтевшего Артура в маленьком детском гробу. Сейчас я думаю, что мы ясно ощутили, как на нас налетела тугая волна, как обдал наши души ветер, поднятый крыльями страшной птицы – птицы беды. Она пролетела совсем рядом. Теперь мы знали: на войне погибают не только взрослые. Артур оказался первым в моем, едва родившемся поколении. Выстрел пришелся по нему.

И мы слышали близкий грохот.

Анна Николаевна каким-то чудом собрала библиотечный актив. Были каникулы, лето, почти все разъехались, кто в лагерь, кто в деревню, но меня и Светку разыскал Вовка, принесший жуткую весть.

На кладбище мы с Вовкой неумело, сбиваясь, били в барабаны, а какой-то пацан, неизвестный мне до сих пор, хрипло дудел в пионерский горн.

Татьяну Львовну поддерживала женщина, похожая на нее, и я подумал, что это, возможно, ее сестра – такая же старая, ну чуть помоложе, худая, черная. И лишь позже, в конце лета, меня осенило, что я видел мать Артура.

Как, когда сумела она приехать так быстро из Ленинграда, это осталось для меня загадкой...

Наша Анна Николаевна сказала речь, из которой я запомнил одну только простую мысль, что война не щадит никого.

Татьяна Львовна едва стояла на ногах.

– Это я, – повторяла она глухо, – это я!

Остальные молчали.

Потом в лагерь уехал и я, а когда вернулся, в школе ходил слух, что Татьяна Львовна уехала обратно в Ленинград, ведь блокада закончилась. Во всяком случае, осенью, после каникул, нас встретила в библиотеке молоденькая женщина. Потом библиотека закрылась, довольно надолго, и открылась снова через полгода, не раньше, совсем в другом месте.

Тут было просторно, коридор, вешалка с гардеробщицей, читальный зал, абонементы – отдельно для младшего, отдельно – для среднего возраста.

После некоторого замешательства я опять попал в актив, потому что много читал – часы напролет сидел в читальном зале.

Удивительный и счастливый мир открывался передо мной все шире. Великие мастера отворяли

в него все новые окна.

Классе в пятом настала пора Дюма. Например, «Десять лет спустя» и «Графа Монте-Кристо», единственные экземпляры которых были в читалке, мы захватывали наперегонки в прямом смысле этого слова, бегом минуя кварталы от школы до библиотеки – кто кого?

Потом пришел Толстой, «Спартак» Джованьоли, Николай Островский, «Овод» Этель Лилиан Войнич, восторг и слезы – самые чистые слезы всех наших лет.

Может быть, я плакал над Артуром из «Овода» потому, что знал еще одного Артура? И его чудесную бабушку?

Светка тоже ходила в библиотеку.

Но в активе больше не числилась.

Я хотел было позвать ее, поговорить с ней, но, подумав, не решился.

Она становилась на глазах какой-то очень уж взрослой и молчаливо опасной.

Новые книги входили в мою жизнь, и я подрастал вместе с ними.

Но такой, какую встретил однажды, больше уже не встречал.

Пушкина, собрание сочинений в одном томе, издание Вольфа.

Куда же делась та книга? Или следы ее потеряны навсегда?

Нет!

Капитан первого ранга оказался ленинградцем, он лежал после ранения в Военно-медицинской академии, тоже эвакуированной из Ленинграда к нам, а когда война кончилась, вернулся в свой город.

Он жил на стрелке Васильевского острова, и из окон его квартиры было видно Адмиралтейство и его золотой шпиль с парусным золоченым фрегатом наверху.

Старинный том стоял на полке напротив окна, и Александр Сергеевич хорошо видел заветный кораблик, воспетый им.

Пушкин заслуженной артистки вернулся в родной город.

Жаль только, что он не встретился больше с Татьяной Львовной.

Впрочем, хочу признаться, что историю про возвращение капитана я выдумал.

Я так хочу!

Ведь Пушкин должен был вернуться из эвакуации.

Вернуться из войны. И остаться всегда живым.

Потому что поэты и книги – бессмертны.

Комментарии

Детская библиотека. - Впервые в журнале «Юность», 1985, № 8. Вошла в сборник «Милая моя Родина» (М., «Молодая гвардия», 1985).

Игорь Мотяшов

mir-knigi.org